

П

усть не обидятся мои школьные наставники.

Когда спрашивают о самом любимом учителе, называю имя Ивана Ивановича Ткаченко. Хотя меня он учил, в прямом смысле этого слова, всего лишь несколько уроков кряду.

После семилетки я пытался тогда двумя нападами в восьмом и девятом классах осилить дневную среднюю школу. Для того надобно было переезжать на жительство в донскую слободу, отстоящую от моего степного села за два десятка километров. Теперь признаюсь, духу не хватило кинуть, пусть на время, отчую хату. Два, от силы три дня — больше не выдерживал в школьном интернате. Садился на велосипед, а если проселок кис под дождем, то пешком направлялся на ночевку домой. Глядя на мои мытарства, отец с матерью вначале ругали: другие дети как дети — неделями глаз не кажут и живы, а тут вроде медом его подманивают. Наконец, терпение и у них лопнуло, когда я, иссеченный до нитки осенним дождем, в грязи по уши — несчетный раз явился на порог, виновато отводя глаза в сторону.

— Иди на ферму коров пасти, — с досады говорил отец, пугая слышанным присловьем насчет того, что будешь неуком всю жизнь во-



Иван Иванович Ткаченко

лам хвосты крутить. Не выказывая на лице радости, брал я в руки пастушью палку. Знал, что ученье от меня не убежало — при деревенской семилетке существовала в ту пору вечерняя заочная средняя школа. А книжки под рукой. Только не ленись.

Из тех моих мытарных дней в чужой слободе самое приятное — одиночные блуждания обрывистым берегом Дона (степняк — не мог наглядеться на большую речную воду) да встреча с Иваном Ивановичем. Встреча в школьном классе, подойти, говорить с учителем один на один я тогда не осмелился.

Что любопытно: вот уже сколько лет тому минуло, а в памяти в полной сохранности его уроки. Вел Ткаченко отечественную историю и литературу.

На истории изучали время Петра I.

Учитель развеселил всех: по памяти пересказал редкостный царский указ о том, как господину губернатору Санкт-Петербурга предписывалось вылавливать и кнудом укрощать новоявленных щеголей, разгуливающих по Невскому предезрско в штанах в обтяжку. Напоминание было к месту, хоть дети

иного века, но схожие пижоны, обряженные в брюки-дудочки, сидели и в деревенском классе. Припечатал нас Иван Иванович крепенько. На все лады сквозь несмолкаемый хохот склоняли давние наказания:

— Не жалея, сечь по оному месту! Пока от штанов зело препрехабный вид не останется!

Шутка осталась шуткой.

А главное, пожалуй, что вынес со школьного урока, особо выделенное учителем — признание самого Петра Великого в канун Полтавы: о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, жила бы только Россия.

В час взросления слова ложились на сердце заветом, определяющим твою собственную жизнь, в которую ты вступал.

Только бы жила Россия!

Урок литературы тоже ведь начался необычно. Для меня, во всяком случае. Отвечать по пройденному мы согласно отказывались, нашлось, чем прикрыться — весь сентябрь ломали кукурузные кочаны на колхозном поле. Рекомендованных ранее на прочтение книг Ивана Александровича Гончарова почти никто раскрыть не удосужился. Не удержался отозваться кто-то из знающих:

— Скучотища этот Обломов, аж уши вянут.

— Неужели? — совершенно искренне удивился учитель. С обычным для близиоруких людей прищуром, поначалу кажущимся хитроватым, он поглядел на нас и вдруг согласился:

— Хорошо. Почитаем другое.

Покопался в своей военной полевой сумке, вытащил книгу. К окну поближе подвинул стул. Вместо привычного объяснения нового материала стал читать.

— «Обыкновенная история». Часть первая. Однажды летом, в деревне Грачах, у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой, все в доме поднялись с рассветом, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса...

Голос учителя зазвучал тихо, располагая к доверительному разговору. Впрочем, через минуту-другую ни сам голос, ни оттенки в его звучании уже не замечались. Толпой обступали иные лица иного мира, где Александр Федорыч, годами чуть старший тебя, но точно так же, как ты, собирался шагнуть за порог отчего дома туда, где «между полей змеей вилась дорога и убегала за лес, дорога в обетованную землю».

Не знаю, кто как принимал те картины прощания сына с матерью, но я, пряча лицо в ладони, тупил взгляд в крышку парты, чтобы не заметил сосед подступающие к глазам слезы.

Зазвенел школьный звонок как из небытия.

На продолжение того урока я не попал — заболел, простудившись. Когда с тела начал спадать жар, прошли звоны в голове, попросил приятеля притащить из клубной библиотеки какие есть книги Ивана Александровича Гончарова. Конечно, первым делом ухватился за «Обыкновенную историю» судьбы молодого человека, обыденность-обыкновенность которой подчеркнута самим заголовком романа.

Трудно судить, насколько результативным на отдачу было для меня то чтение, но что было оно крайне необходимым, это точно. Ибо великая русская литература, общепризнанно, была и пребудет «учебником жизни» многим поколениям в роду человеческого.

Впрочем, задуматься об отдаче истинно художественного слова можно. Ведь в шестидесятые годы еще каким спросом на книжном рынке пользовались пижонистые юнцы, с легу покоряющие дальнюю Сибирь и ближнюю русскую деревню, бойкими манерами и нахрапистой хваткостью заметно выделяющиеся в городской толпе вихлявые юнцы, сверкающие на тогдашнем литературном небосклоне голубыми звездами. Бездуховная ложноромантическая шелуха выдавалась за народную жизнь. Подобие блатной словесницы считалось современной речью. Случалось, проповедовалась и поощрялась с журнальных и книжных страниц открытая безнравственность как образец поведения подлинно современного человека. Учиться различать, видеть мнимое — к этому подспудно наталкивала выдержавшая испытание временем совестливая отечественная словесность, к лучшим страницам которой принадлежат и романы Ивана Александровича Гончарова.

Как тут не подумать: да будет славен учитель, ненавязчиво приручавший детский ум к отечественной классике, требующей — от «Слова о полку Игореве» до книг нашего великого современника Михаила Александровича Шолохова — серьезно-вдумчивого читателя.

Иван Иванович готовил в наших душах благодатную почву, в которую сеял сущее, и оно оставалось невытравленным, выстаивало в любую сушь.

2

Поверив листу первые впечатления от встречи с Ткаченко, я вдруг засомневался — а кажется ли убедительным мой рассказ, всего-то ведь посидел на нескольких уроках. Не натаскиваю ли факты задним числом под своего Ивана Ивановича, которого узнал близко уже позже, не в школьном классе.

Стал распытывать, слушать бывших учеников Ткаченко, людей, знавших его давно.

Писателю Виктору Викторовичу Будакову привелось учиться в разных сельских школах, к Ивану Ивановичу он попал в десятом классе. Ученик мог сопоставлять учителей-однопредметников, что нам немаловажно:

— Иван Иванович впечатлял эрудицией, обширными знаниями не только ли-

тературы, истории. Располагал к себе тем, что умел беседовать с тобой на равных. Именно на равных, без панибратского похлопывания по плечу или наигранного снисхождения.

Раз на уроке высказал ему напрямую то, что думал тогда: «Тихий Дон» — лучшая книга у Шолохова, одна из лучших во всей мировой литературе двадцатого века. И как ни старайтесь расхваливать «Поднятую целину», вровень ее не поставишь, с книгами других известных писателей она в одном ряду. Что-то, видимо, еще сбивчиво выстраивал в своей путаной речи о показавшейся заданности характеров главных героев и тому подобное.

Учитель от разговора не ушел.

Диалог наш, занявший большую часть урока, слушал весь класс, хоть и молчально, но даже взглядом поддерживая то меня, то соглашаясь с рассуждениями учителя.

— «Тихий Дон» — вершинная книга. Пока, — утвердительно говорил он. — А кто с этим спорит? Хорошо, оценим критично «Поднятую целину». В художественности она ведь не уступает «Тихому Дону». Послушайте, по памяти, одно начало, заповею роману: «В конце января, овейные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады. В полдень где-нибудь в затишке (если пригревает солнце) грустный, чуть внятный запах вишневой коры поднимается с пресной сыростью талого снега, с могучим и древним духом проглянувшей из-под снега, из-под мертвой листвы земли». Считаете, что не мастером выписано. Не поверю! Если и убеждены, что это показное, сойдет.

Считаю, что написано-де книга заданно, следовательно, может, в чем-то да и проглянет неискренность. Давайте сообща разберемся и в этом. К родительскому авторитету обратимся. Им все же виднее, ведь описываемые в книге события знают не понаслышке, они еще живы в памяти — на глазах все происходило. У кого «Поднятую целину» вслух читают в доме? Видите, труднее сыскать тех, кто не знает романа. Да разве неискреннюю хоть в самой малости книгу будут перечитывать вслух в каждом доме!..

Конечно, до точности восстановить тот разговор невозможно. Не о том речь. Учителю проще было осадить меня, как запальчивого, зарвавшегося мальчишку, убедить авторитетом учебника, мол, люди выше нас, знают, что писать — так чаще всего это и случалось, когда вызывал учителя на спор. Но — Иван Иванович, поворюсь, умел говорить на равных. Что многое значило в становлении молодого неокрепшего ума.

Говорю о себе и своих сверстниках.

Учитель был нам духовным наставником. В отрочестве, когда мы былинок на всхолмье, ветер дует — и гнешься. Тут важно, что питает твои корни, тогда выстоишь в любой буря и вновь выпрямишься.

Иван Иванович даже если и скажет малоприятное, то получалось это незлобиво, с доброй иронией, что обязательно заставляло тебя критично взглядеться в свои поступки.

В школе, как водится, редко кто из учителей не был поименован заглазно прозвищем. Иван Ивановича тоже порой называли не по имени-отчеству. Просто — учитель. И всем понятно, о ком речь.

— Прозвенел звонок на урок, и мы, ученики девятого класса, — вспоминает Юрий Иващенко, ныне тоже учитель и автор краеведческих книг, — встали из-за парт в ожидании учителя. Открылась дверь, и быстрым шагом в класс вошел Ткаченко. Поздоровавшись, Иван Иванович подошел к столу, положил свою военную полевую сумку, взял мел и крупными буквами написал на доске слово «Философия».

Повернувшись к классу, он посмотрел на нас пристальным и в то же время очень

добрым взглядом. Затем еще немного помолчал и произнес: «Философия — это мудрость. Вот мудрости я вас и буду учить».

Иван Иванович совершенно не вписывался в тот образ учителя, к которому мы уже привыкли. Он был совсем иным. Порой выглядел даже как-то чужаковато. Своими суждениями, взглядами нас ставил в тупик, но мы не обижались, а восхищались его глубокими и разносторонними знаниями.

Больше всего нас поражало в учителе то, что он мог поставить пятерку только за правильно сказанное слово, за один хороший вопрос. И мы зачастую не столько учили домашнее задание, а придумывали интересные вопросы в расчете на высокую оценку.

Памятен мне выпускной экзамен по истории и обществоведению. Подготовившись по билету, я сел за стол и начал было отвечать, но Иван Иванович остановил меня и спросил: «А помнишь, месяца два назад ваш класс письменно отвечал на вопрос — что главное в жизни? Так вот, скажи, ты написал от души или просто так, лишь для ответа?» Я практически дословно повторил ранее написанное, и учитель поставил мне в ведомость «отлично», не спросив ни слова по билету.

Сейчас, после стольких лет, многое видится по-другому. Жаль, что то, чему учил Ткаченко, по молодости самоуверенно воспринималось без должного внимания. Одно запомнилось на всю жизнь. Неоднократно учитель буквально вдавливал в головы, что никакие институты, никакие учителя не научат человека, если он сам этого не захочет. Главное в учебе — это самообразование.

— На каникулах группу учеников, куда зачислили и меня, Иван Иванович возил в Москву. После бывал-перебывал в столице, но та поездка осталась особо памятной. — Это рассказывает Иван Егорович Безручко, однокашник, не в пример мне прижившийся тогда в Новой Калитве. Теперь он сам учитель, преподает математику. — Из Кремля, прямо с Красной площади повел нас Иван Иванович в Третьяковскую галерею. От экскурсовода отказался, сам стал рассказывать о картинах, о художниках. Поверишь, скоро к нам присоединились другие посетители. По-моему, сами музейные работники заслушались Ивана Ивановича, оставив свои служебные обязанности.

После не выпадало быть в Третьяковке, а услышу о ней, так и вспоминается та экскурсия из школьных лет, как праздник.

А вот с каким письмом пришла в редакцию газеты «Россошь» библиотекарь Лариса Полкопина.

«В школьном классе моим учителем Иван Иванович Ткаченко не был. Но знала я его хорошо с детства. Наши дома стояли в селе окнами друг против друга. Часто с подружкой Наташей Величко подсматривали, когда Иван Иванович выйдет к колонке с ведрами за водой, и бежали к нему, чтобы озадачить одним из своих вопросов. Иван Иванович никогда не отмахивался от нас. Всегда внимательно выслушивал и разъяснял все просто и понятно. Мог и сам рассказать что-нибудь интересное. Мы его принимали как доброго соседа, а не как учителя. Может, потому, что за водой он ходил всегда одетым по-простому: в старенькой майке, в потертых трико, а то и в шароварах, в тапочках на босу ногу.

Так случилось, что наши пути в школе не пересекались до девятого класса. Потом меня, как и многих учеников Ивана Ивановича, захватила «музейная лихорадка». Мы стали следопытами-краеведами. Ходили по дворам, расспрашивали о погибших и живых воинах. Фотографии просили, увеличивали, оформляли стенды, альбомы. Работали экскурсоводами в своем школьном музее.

Благодаря Ивану Ивановичу, приезжали к нам родственники погибших в наших краях воинов Великой Отечественной, имена которых мы вместе с учителем сумели разыскать.

Уже в десятом классе случилось так. Открывалась дверь во время урока, и дежурный по школе спрашивал: «Можно Таню Черноусову или Люсю Плющеву в музей отпустить? Приехали ребята из такого-то села, нужно экскурсию провести». Вот на таком серьезном уровне была организована краеведческая работа в музее. И по радио из самой Москвы рассказывали о нашем школьном музее и его создателе учителе истории Ткаченко Иване Ивановиче.

Мы жили краеведением до самого окончания школы в 1966 году. Люся Плющева впоследствии стала учителем истории, работала в Павловске.

А еще посчастливилось однажды на летних каникулах поехать «насыпом в общем вагоне» в столицу. Поездку возлагал Иван Иванович Ткаченко. Это было что-то для нас — сельских ребят — необыкновенное. Получили впервые... Москву в подарок! Посетили и Третьяковку, и Исторический музей. Желаящих Иван Иванович даже возил в огромный магазин «Светлана» куда-то на столичную окраину. Запомнилось: стоим у витрин, глазеем. Заходят два негра, просят белое кружево-шитье. Берут — разглядывают в своих руках. Одна девочка не выдержала, как закричит: «Да они же его сейчас вымажут!» Иван Иванович не мог сдержать улыбки, но серьезно заметил: «Маша, негры руки тоже моют».

Сколько у него было терпения. С высоты прожитых лет думаю, как же можно было выдержать наше шумное общество!

В музее, где были выставлены платья царицы Екатерины, мы как открыли рты, так и не закрывали. Иван Иванович рассказывал об украшениях, сколько весит платье в изумрудах-бриллиантах, а потом смеялся: «Вам бы такие наряды? Да?»

В Третьяковской галерее около картины Репина, где Иван Грозный убивает своего сына, учитель так рассказывал о случившейся исторической трагедии, что кровь стыла от ужаса. А ведь говорил, как всегда — негромко, немного не выговаривая букву «р». А не только мы, но и другие посетители слушали, затаив дыхание.

Весь десятый класс из школы ватагой ходили домой, а если посчастливится, то вместе с Иваном Ивановичем. Всегда при нем офицерская коричневая потертая сумка-планшетка. Разговорам обычно не было конца. Говорили о музейных делах, о встречах с интересными людьми.

Помню, как 19 мая, в День пионерской организации, у костра на берегу Дона состоялась линейка, где приняли в почетные пионеры воевавшего в наших местах в Красной Армии американца Гарри Айзмана. А я повязала галстук почетному гостю из Башкирии Зубаиру Касимовичу Аминиеву. Этого человека я хорошо помню до сих пор. Мы водили его по меловым калитвянским буграм. Он показывал, где подбил вражеский танк. А потом опустился на землю, лег, распротер руки, будто обнял ее, и заплакал. Взял горсть землицы в платочек.

В школу часто приезжали военные — и моряки с блестящими кортиками, и представители сухопутных родов войск, и люди в штатском. Женщины, мужчины. Запомнилось, как гости горячо и трогательно благодарили Ивана Ивановича, часто не скрывали своих слез. На таких линейках присутствовали все ученики школы. Нас было около шестисот человек.

Случайно мне довелось попасть в дом, когда Ивана Ивановича не стало. Везде листы, коробки. Жена Наталья Владимировна и сын Юрий разбирали бумаги Ивана Ивановича для школьного музея...

Идут годы. Но я уверена, ученики еще помнят своего наставника. Светлой души был человек. Жаль, что многого не успел...

И еще. Я очень люблю фестивали Слободской украинской культуры, которые проводит актив и редакция газеты «Россошь». Каждый остается памя-

тен как светлый праздник души народной. Нынче надеюсь быть не только зрителем, но и участником.

Есть у меня предложение к Оргкомитету: учредите приз имени нашего краеведа Ивана Ивановича Ткаченко. Учитель этого достоин...»

Предложение Ларисы Ивановны Полкопиной было принято. Лучшим чтецам на фестивале вручается приз имени учителя-краеведа.

По-своему интересны воспоминания о соседях подруги Ларисы Полкопиной — Наташи Величко-Бойко.

«...Через дорогу напротив родительского дома находилась усадьба семьи Ткаченко-Гайдай. Их подворье граничило с подворьем моей родной тети, и не было между ними никаких заборов, общались совершенно свободно. Всех нас связывали добрые дружеские отношения. Глава семьи, Ткаченко Иван Иванович, человек незаурядный. Фронтовик. Мои первые детские воспоминания: дядя Ваня стоит у калитки своего двора и с кем-то разговаривает. Одет в светлый полотняный костюм и белую сорочку-вышиванку, называемую «гуцулкой», без головного убора. Этой, любимой им, форме одежды он оставался верен очень долго. Иван Иванович был прост в обращении с соседями. Как-то из одной из своих многочисленных командировок привез мне в подарок цветные карандаши, 24 цвета! Сколько радости было! Я их очень берегла и только самым близким друзьям разрешала немного порисовать.

Иван Иванович очень много знал и умел интересно рассказывать. У него была огромная библиотека. В ней имелись даже все тома Большой советской энциклопедии. И это в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века!

Я, конечно же, погрешила против истины, назвав Ивана Ивановича главой семьи Ткаченко-Гайдай. Реально главенствовала его жена Наталья Владимировна. Голубоглазая красавица с толстой косой цвета воронова крыла, уложенной короной вокруг головы, красиво по тому времени одетая, она всегда привлекала восхищенные взгляды окружающих.

Наталья Владимировна занималась домашним хозяйством. Хозяйство необычное. Живности никакой не разводили. Зато сад и огород содержался в образцовом порядке. Но самой главной достопримечательностью был огромный палисадник с разнообразными, редкими для того времени растениями. Мы с сестрой и подругой часто, затаив дыхание, рассматривали и нюхали каждый цветок. Надо сказать, что содержать такой цветник было довольно трудно. Кроме всего прочего, воду для полива носили в ведрах из колонки, находящейся метрах в ста от двора. Поэтому односельчане и не увлекались цветами. Сажали самые неприхотливые: бархатцы, астры, циннии. Наталья Владимировна делилась семенами и отростками своих цветочных культур, и постепенно соседские палисадники преобразились. У нас во дворе росло несколько кустов роз. Мои родители очень гордились ими.

Тетя Наташа хорошо готовила. Угощала нас невиданной в то время выпечкой: хворостом, различным печеньем и тортом, состоящим из множества коржей, пропитанных заварным кремом. Потом такой торт пекла моя мама. Надо сказать, что выпечка коржей на плите, которая топилась дровами, на керогазе или примусе — это своего рода искусство.

Еще у Натальи Владимировны было большое увлечение — вышивка крестиком. Тогда вышивание было процессом творческим. Со специальной картинкой на бумаге изображение переносилось на холст, с прикрепленной к нему канвой. Подбиралась величина крестика, их количество в строчке, цвет ниток. Наталья Владимировна вышивала очень много — настоящие картины, ковры, покрывала, всевозможные накидки. От них невозможно было глаз оторвать! Все предметы, растения,

люди выглядели абсолютно реально, как живые! Наталья Владимировна была певуньей. Пела в хоре Дома культуры. А в длинные зимние вечера приходила к нам в гости. Взрослые играли в карты и лото, женщины иногда вышивали и пели. Пели русские и украинские народные песни, песни советских композиторов. Разрешалось подпевать и нам, детям. Это были незабываемые вечера».

...Мой родной дядя Андрей Тихонович Коростов — комбайнер, в годы эмтэзовской молодости не одну зиму ходил в политкружок, где вел занятия Ткаченко.

В политике Иван Иванович сильно разбирался. Поначалу хлопцы на спор веряли его — старались на самых заковеристых вопросах поймать учителя. Бывало, кучи газет и книг в библиотеке перекопают. Но что ни спросим — отвечает.

Засмеемся разом, прослушав ответ, а он непонятливо поглядывает на нас, что с нами, ничего смешного ведь не сказал.

— У вас, Иван Иванович, в голове вроде весь библиотечный шкаф с энциклопедией уместается.

Тут и Ткаченко улыбнется, догадавшись о дотошной проверке.

Дядя, кстати, добавил немаловажное, что мной, скажем, не замечалось. Ведь чтение для Ивана Ивановича при его никудышнем зрении было тяжким физическим трудом. «Завяжи себе один глаз и попробуй — час, два поработай».

Библиотекарь и учитель Раиса Ивановна Каменева у Ткаченко была первым старостой краеведческого кружка:

— Вижу, как сейчас — волы медленно тащат сани белой степью. Из хутора возвращаемся на жительство домой, в только освобожденную Калитву, откуда нас еще по осени выгнали фашисты.

Студено, мама, как ни кутает, а мне зябко.

Осталось пути совсем немного: за Малиевой могилой, за холмом начинается последний спуск к селу — этим меня, видимо, утешает мама, упрасывая потерпеть.

На самой вершине волы — смирнее не знаю скотины на свете — вдруг напуганно захрапели, норовисто перекосили ярмо, сбиваясь с шага. Бабушка кинулась хлестнуть по бокам хвостистой да заголосила:

— Господи, убиенные!

В прорехе платка увидела я по красному снегу то кучами, то в разрядку — снопами побитые люди.

Опомнившись, мама приклонила меня к себе, прикрыв лицо, — но взявшийся кровью снег, убитые уже впечатались в моих глазах.

Годы спустя узнала: за тот степной курган, помеченный в военных сводках как «высота 176,2», полегло до тысячи наших бойцов. Не только узнала, что 115 воинов были здесь награждены (из них десять орденом Ленина, посмертно), участвовала в поиске имен, вместе с односельчанами встречала как самых званных гостей оставшихся в живых участников этого сражения.

Сейчас трудно представить, что розыск героев начал один человек, дважды сам раненный на полях войны, Иван Иванович Ткаченко.

...Слушаешь людей, согласно думаешь: как не поклониться учителю.

Ловлю себя на том, что рассказываю о первых встречах с Иваном Ивановичем не совсем точно. Ведь видеться с ним мог и раньше.

В бытность свою инспектором района Ткаченко, оказывается, нередко наезжал в наше сельцо. Уж кого-кого, а велосипедиста не пропускала деревенская ребятня. По грейдеру катали наперегонки обода железных колес, от самой околицы

Скреджета сопроводжали хоть велосипедных, хоть тележных аезжих гостей. Скрежета проволочного крюка, что зуб о зуб, вспугивали лошадей, а велосипедиста понуждали придавить на педали, нервно вильнув передним колесом.

Как сговорившись с Иваном Ивановичем, однажды выявили, что нам одинаково памятни, близки концерты Воронежского народного хора. Во второй половине пятидесятих годов хор почти каждое лето наезжал в наш небольшой степной район.

Тут важно заметить одну особенность. Профессиональные артисты в ту пору не обходили село стороной. Но в погоне за выручкой концерты ставились в каждом клубе, где зрительный зал частью оставался пустым, хоть сюда являлось почти все деревенское население. Ничего, что на сцене певцов-музыкантов порой больше, чем в клубе слушателей, — денежную недостачу оборотистому зазывале восполняла колхозная касса. Зазывала подгоняет обычно и артистов, и зрителей, поскольку у него все расписано по минутам: три-четыре концерта сумеет вместить в один сельский вечер.

Конечно, и воспоминания о таких встречах с искусством недолги.

А тогда, возможно, тому же хору не спускался план повышенного охвата сельского населения. На весь Новокалитвянский район ставился один концерт. Назначался он обычно на воскресный день. В Калитву грузовиками свозили людей со всей округи. На просторном и затравелом, что выгон, дворе у «дома» со звучно обязывающей вывеской — «культуры», а с виду — обыкновенного амбара, устраивалась дощатая сцена, лицом обращенная к Дону — к крутой речной излучине. И когда начинался концерт, песни звучали не только в зрительном «зале», перед стопами слушателей, разместившихся на опоясках скамеек и грузовиков или просто на траве, — чистые звуки песни, действительно, плыли над тихим Доном.

Как теперь представляю, сама обстановка располагала к пению до полной самоотдачи, той, что называется вдохновением.

Прекрасный мир — сердечный и простой — брал за душу выходившего на сцену. Удивляет неожиданный среди зеленого сенокосного лета вид белых донских гор, четко прорисованных закатным небом; веселил проблеск остатного солнечного луча, играющего в тихой воде излуки; загадочно манящей сизокрылой дымкой томили заречные темные дубравы.

Песню ждал не избалованный общением с искусством, уже тем благодарный сельский люд. Тем более — творилась мелодия, родившаяся в народной душе.

Как бы там ни было — эти концерты, продолжавшиеся четыре-пять часов подряд, пока не исполнялись все просьбы не приученного к дежурным аплодисментам зрителя, запали на всю жизнь не только в мою память.

Глубокой ночью трудяги-грузовички развозили нас по своим селам, так и остался в душе праздник песни — с запахом утоптанного в кузове лугового сена, с ночной звездой над степной дорогой.

Об этом празднике и напомнил мне Иван Иванович, когда в тех же шестидесятих годах отчитывался перед ним о своей студенческой поездке в Чехословакию, в рассказе дошел до случая, когда просто убило меня какое-то животное поклонение сверстников отупляющей музыке, самой современной, а ее-то музыкой и язык не поверстивался величать — барабанный треск, калечащий человеческое в человеке.

— У тебя ж хорошая прививка против такой заразы, — объяснил мне, усмехнувшись, Ткаченко.

Я непонятливо уставился на Ивана Ивановича.

— Тебе при всей твоей музыкальной необразованности основы вкуса вложили пение матери, народный хор, благодаря радио — Глинка, Чайковский с Рахманиновым — а не кривляющаяся певичка с лохматыми барабанщиками.

Перебираю возможные варианты дошкольных встреч с Ткаченко, подступаюсь

назвать главную, состоявшуюся тоже до классного урока. К знакомству нашему, правда, одностороннему, причастна двухстраничная, журналисты называют, узнал позже, двухполосная, районная газета. «Красное знамя» мне приходилось частенько читать вслух по просьбам старших, потом и сам пристрастился к газете — не упускал случая «проглатывать» ее от заглавной статьи до новостей последней колонки.

И вот однажды — и навсегда — западает в память имя «И. Ткаченко». Из номера в номер с продолжением в газете помещались статьи Ивана Ивановича, публикуемые районками обычно в разделе «Люби и знай свой родной край». Не знаю, печатались ли прежде в «Красном знамени» подобные материалы, но в тогдашний газетный листок я вчитывался с не меньшим интересом, чем и в очередную главу удивительных приключений морехода Робинзона Крузо. Без преувеличения, сравнение на перо napросилось не красным словом, схожим было ощущение интереса в первочтении газетной статьи и знаменитой книги, так и остающейся в списке любимых.

Теперь-то понимаю, учитель делал довольно рискованные предположения в истории края. Хотя как знать — что ценнее: чистосердечное признание неясностей в заселении края, в названиях речек и сел или смелые предположения, пусть и неверные, но все же подвигающие ум к неведомой пока истине. Мне по душе последнее.

Происхождение имени речки-слободы учитель связывал со звучным в истории нашего Отечества словом — калита, хорошо известным нам со школьных лет. Так народом был поименован внук Александра Невского — Иван I Данилович, Калита. Пресловуто «скопидомный сундук» московского князя оказался краеугольным камнем экономического и политического могущества Москвы. «Бысть оттоле тишина велика по всей Русской земле на сорок лет и пересташе татарове воевати землю Русскую». А в эти-то сорок лет на Руси народилось и выросло поколение, не ведавшее векового страха перед Ордой. С ним и вышел на Куликово поле князь Дмитрий, покинув поле брани с победой, уже Дмитрием Донским.

Так вот, рискованно, но отчего же вдруг да не прикинуть, что кто-то из свиты Ивана Калиты на пути из Золотой Орды взял да и вверх по Дону пошел мерить степь ненаотоптанными тропами. Мог он, русский человек, остановить коней на постой, вслушаться в земную тишь — у тихо гремучего ключа под дивной меловой горой. Уставшему путнику вода казалась чистой слезой.

А окрест просторы — дух захватывает.

И как тут не крикнуть:

— Калита!

Текущая в Дон речушка, пояском перехватывающая зеленотравые луга, черное лесом темнокорые дубравы, крутым берегом россыпи меловых круч, сизопаловый ковыль на ветру — вот оно, наше богатство, родная земля — калита...

Оспаривай, не признавай легенду, но она вкупе с другими исторически выверенными подробностями не просто вводила в «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», мне и моему сверстнику она позволяла видеть в истории твоей малой родины историю Отечества. Значит — в отроческой душе пробуждался росток осознанной любви к отчему дому.

Кому-то везло больше. Он ведь слушал рассказы учителя на уроке, вел поиск в составе краеведческого кружка, участвовал в создании школьного музея, даже просто — поднимался с учителем на Миронову гору. С его помощью мог глядеть сквозь века, видеть славянина, обживающего донские берега, слышать топот та-

тарской конницы по Ногайскому шляху. Мог мысленно заставить вновь качаться на речной волне разинские струги и суда петровской флотилии. Мог узнать в лихом всаднике, гордо несшем шлем древнерусского витязя, деда-конника, и вместе с отцом, ратником уже Великой Отечественной, взять родимые высоты, обжигтые врагом.

Мне с той детской поры речь учителя оживала с газетного листа.

То вдруг узнавал, что Старая Калитва не райцентр, село поменьше Новой, два века назад была городом с «крепостцой, обрытой сухим рвом», с публичными строениями, в ряду которых «приходская церковь Успения пресвятые Богородицы, каменная». А еще — «уездной нижней земской суд, уездное казначейство, нижняя расправа, городническое правление, тюремная изба с острогом, два соляных амбара и казенный выход для хранения собираемых государственных податей, городнический дом, деревянная сверх того городова ратуша, духовное правление и магазины для собираемого с войсковых обывателей хлеба». А здешние жители хлебопашествовали, держали скот, выделялись «в сапожном, ткацком и портном мастерствах», имели «отъезды в разные малороссийские города под извоз на волах за рыбой и поставку в казенные магазины соли, также в Таганрог и Ростов за виноградными винами. Женщины некоторые промысел имеют продажею съестных припасов и большей частью упражняются в домашнем рукоделии, прядут лен, посконь и овечью шерсть, ткут холсты и сукна для домашнего употребления, а отчасти на продажу».

Потому так подробно пересказываю добытый учителем в старинных книгах документ, ведь речь в нем — напрямую о моих предках. Жители родимого селца — выходцы из города Калитвы. Вначале на лето выгоняли в степь стада, решились однажды зазимовать там, да и прижились на обдуваемых со всех сторон света суходольных буграх, богатых в ту пору не только нагорными дубравами, но и степовыми травами. Молоко теперешних животноводческих ферм ценится в приготовлении лучших сортов сыра «Российского».

Разумел мужик в делах хозяйственных, но робел перед силами небесными и земными. Вот в чем убеждала строка из той давней поры.

Кто-то свершал великие открытия неведомых доселе земель и континентов — ему по заслугам воздается и честь благодарными потомками. Сельский учитель открывал вроде бы малое: рылся в архивных бумагах и старинных книгах, выслушивал старожиллов, хранящих преданья о «вечерних монахах» в кельях мellowых, помнивших байки о растерзанном волками том Мироне, чьим именем был назван высокий холм, записывал рассказ своего ровесника, опаленного войной — и подытоживал добытое в беседе с учениками и взрослыми в газетных статьях, которые воссоздавали родословную отчего края.

Теперь-то понимаю: в твоей судьбе это событие не меньшей важности, чем открытие той же Америки в истории человечества.

Детям первого послевоенного поколения мир начинался в день рождения с голодного «желудяного» года, на который нас обрекала не только природная засуха, но и земные коленные дяди, поспевшие ко Дню Победы, когда еще не высохли слезы на лицах наших матерей, открыть фронт новой войны, поименованной — холодной.

Воспоминания о ней полны болью сердечной.

— Пошли с мамой, — рассказывал мой старший брат, — в Лиманный лес собирать желуди. Из них горчливые лепешки пеклись, а все же схожие с хлебными.

Перепеленала тебя мама, на сухую листву под дубом уложила, а мне наказала неотлучно приглядывать. Ты спишь, посапывая. Тебе что до моих забот, когда не то с утра до ночи, но сне думаешь одно — чего бы поесть. Желуди собираю. И как в сказке: кустик за кустик. Откуда ни возьмись — кабанье стадо с треском проло-

мило тропу. Кинулся к тебе, а место запамятовал. Не найду с перепугу. Зашелся в крике:

— Мамонька, братика кабаны стоптали!

Сверстник брата, твердокаменный в характере мужчина, не сдержал слез, когда говорил в минуту откровения:

— Не так сама война мне горькой стала, как после голодный год. Чтобы выжить, оставалось только одно — побираться, милостыню просить.

Проглотив ком, перехвативший горло, он выдавил из себя:

— Как приснится: стою с полотняной сумой, протянув руку — обязательно за хвораю...

Глядя на пальто-костюмы, развешанные по двору летним днем на солнце на просушку, дядя Андрей вдруг вспомнил:

— В сорок шестом году, точно, приехал в Калитву лектор из области, может, даже из Москвы. Народу в эмтээс собралось. Слушаем.

— Поверьте, — говорит, — будет такая жизнь: у девчат по три платья, у парней по паре костюмов.

Разом расхохотались все:

— Загнул же!

Не поверили...

После услышанного язык не повернется попрекнуть отца с матерью, школьного наставника за то, что детство не озарило твою душу сполна очарованием святынями родной истории, культуры.

Всему свой час. Верно. Но этот час мог и не пробить. Жил бы ты теперь-то накормленным, прилично одетым, при часах, оставленных на пианино, при «жигуленке», а то и «волжанке», иномарке. Но был бы — умником, из числа тех, коим, по верному и на сегодня замечанию великого Пушкина, «все равно: бегать ли им под орлом французским или русским языком позорить все русское — были бы только сыты». И что тебе до отчеканенной поэтом на века мысли: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости».

Уважение к минувшему воспитывал в людях слободской учитель. Хотя, чего греха таить, окружающие смотрели на него чаще как на чудака. Задним числом теперь понимаю: мало кто тогда придавал надлежащее значение трудам Ткаченко. Осознавал это он сам. Но — его уязвленной душе, не единожды опаленной смертным польем войны, открывалась вечная страница дивной книги, повествующей о том, как «отцы наши и деды землю устроили...» Открывалась, переполняя болью сердце, заставляя высказываться на людях.

— Такая уж здесь местность: пожалуй, ни одного крупного события в истории Отчизны не происходило, не затронувшего Калитву.

Кровно вяжет жизнь имя твое и отчество, имя народа и Отечество. Напоминает само собой, что осознанное духовное обретение Родины Великой начинается с познания собственного истока. Истока, из прошлого указующего в твой завтрашний день: не только куда, но и каким нам плыть.

Потому важна была песня учителя об отчем крае.

Год от года она становилась звучней.

В далекой и близкой истории окрестных селений вдруг открывалась судьба русского народа.

Оказывалось: жизнь крестьян донской слободы представляла перед двадцатичетырехлетним Владимиром Ульяновым, когда он срывал все и всяческие маски, обнажая истинное лицо «друзей народа», воевавших против социал-демократов.

Веским подспорьем, неопровержимым документом стал такой «превосходный материал, как земская статистика», а точнее — «Сборник статистических сведений по Воронежской губернии», подготовленный, кстати, опытейшим русским статистиком Федором Щербиной и изданный в 1887 году.

«Бюджет № 14. По слободе Старой Калитве. А.И. Мельников, 36 лет, бедняк; в семье дележей искони не было. 10 лет назад хозяин жил чернорабочим полгода в Донской области, изредка занимался сапожничеством, дающим от 6 до 10 рублей заработка в год, ежегодно ходил на Донщину косарем с Троицы до Ивана Купала (на два и полтора месяца), зарабатывая от 3 до 15 рублей, в настоящее время живет у местного крестьянина годовым работником за 27 рублей на хозяйских харчах, обуви и одежде. Сам и сын малограмотны. Хлеб начинает покупать на продовольствие с октября и ноября и до нового.»

Бюджет № 15. По слободе Новой Калитве. И.Г. Сердюков, 30 лет, бедняк. Около году «отошел» от отца и брата-солдата, людей тоже малоимущих. Отец стар стал, сказал: «На тебе лошаденку», — вот и весь раздел. В предшествующую году служил с женой в батраках за 80 рублей на Донщине; текущей весной ходили туда же на заработки с беременной женой пешими; жена и родила на заработках; жили «без хлеба». Через неделю после родов оба возвратились пешими домой с ребенком на руках, не заработавши ничего. Теперь снова собираются идти на заработки. Хлеба на продовольствие покупают на круглый год.»

В начале семидесятых XX века читал это неверяще: твоя Калитва в цветущих майских садах была вымирающей. Правда, либеральный «друг народа» из XIX века не числил ее таковой. Он выставлял факты в ином свете: бюджет бедняка (В. Ульянов существенно поправляет: батрака) плюсовался к бюджету крестьянина позажиточней — и выходило, что усредненный русский мужик благоденствовал, не нарадуясь существующим порядком в обширном государстве.

Однако в настоящей жизни среднеарифметически вычисленного мужика не существовало. А была Калитва, на серой меловой улочке-крейдянке которой пригнута сирая хатка Сердюкова, а по России — несчетные порядки таких изб, жильцы которых еле-еле сводили концы с концами. Сам калитвянский Сердюков вряд ли узнал, что именно его батрачья доля обрела заступника, звавшего народ к революции.

Книга Ильича нелегально распространялась в Петербурге, Москве, Киеве, Вильно, Чернигове, Полтаве, Владимире, Пензе, Ростове-на-Дону, Тифлисе, Томске — по всей России. Боль слободского бедняка становилась общей болью.

Скорее всего, в ту пору книжица в Калитву не попала. Зато потомки батрака Сердюкова прочитали ее с помощью учителя Ткаченко. Прочли не просто как документ ушедшей эпохи — как рассказ о родословной своей семьи, в которой зеркально отразилась судьба страны, ее история. И как ее не перекраивай, не переоценивай, суди Ленина-Ульянова и называй его уже не великим мыслителем и политиком, а палачом, злым гением — факт остается фактом: малограмотный бедняк из Калитвы жил «без хлеба», а его внук Соколов на Байконуре запускает к звездам космические корабли.

А Ткаченко в своих исторических розысках будто задался целью доказать: все дороги ведут в его донскую Новую Калитву.

И ведь получалось. Удача просто сама плыла в руки.

Правда, так казалось со стороны.

Пытливый ум воскрешал именитых земляков, воссоздавал летопись села. Усилиями прежде всего Ивана Ивановича еще к сорокалетнему юбилею Советской власти был открыт историко-краеведческий музей, ставший широко известным. Тогда же школьная сельская летопись отмечена дипломом республиканской Академии педагогических наук.

Называя эти факты, внимательнее всматриваюсь в дату — 1957 год. Красные следопыты с их патриотическим общесоюзным призывом «Никто не забыт, ничто не забыто», со школьными музеями боевой и трудовой славы явятся чуть позже, в шестидесятых. Ткаченко опережал, предугадывал новое возрождение всенародного интереса к собственной исторической памяти, на которой зиждется наше познание своей земли, культуры, языка — Отечества. Вернее сказать, учитель не предугадывал этот общественный процесс, он как истый подвижник творил его. А пока в краеведческих исканиях добивался малого — чтобы с детства школьник воспринимал мир не только в запахах типографских оттисков.

Осознавалось позже: краеведение обретало в отроческих душах силу животворного жизневедения, отчизноведения.

7

Главенствующее место в его поисках надолго заняла последняя война — Великая Отечественная. Тогда ее события не отошли в историю, еще не отмечались памятниками и памяtnыми датами — были живыми в памяти людской.

Перечитал написанную строку — и запнулся. Память-то о войне в моем сознании подростка, допустим, существовала двояко. Ограниченно-лично — похоронной бумагой на дядю Павла, глядевшего на нас из остекленной фотокарточки глазами «навек девятнадцатилетнего», в хате залатанной доской потолочный пролом от вражеского снаряда, материнская медаль, так и затерявшаяся в мальчишеских играх, рассказы о войне неохотого к таким беседам отца. В голове знания о войне держались и всеохватно обобщенно, являясь в рассказе учителя, со страниц школьного учебника, — 22 июня ровно в четыре часа вероломно напала, а 9 мая фашистская Германия в поверженном Советской Армией Берлине капитулировала.

В мальчишеском сознании отдельно и несоединимо жили бесстрашные Зоя Космодемьянская, молодогвардейцы и мой родной дядя, сложивший голову на болотистой равнине под Новороссийском. Подвиг не склонившей перед врагом головы храброй партизанки был на виду всей страны, а дядя, что же, бежал в атаку, солдатскую цепь накрыло минами. «Гляжу, — рассказал после бабушке сослуживец-односельчанин дядин, — на том месте, где был Павел, земля курится в ямке».

Осознанное чувство кровной причастности к народному подвигу, к таким, как я, стало приходить, пожалуй, в поиске «Пусть не останется на нашей земле ни одного безвестного подвига!» — который и вел Ткаченко со своими учениками, в какой был и я постоянно посвящен как усердный читатель районной газеты.

«Вырваны из забвения сотни славных имен, героям воздвигнуты памятники, о них написаны книги», — подводя некоторый итог сделанному, напишет позже учитель.

Обратимся к страницам краеведческой летописи 1958 года.

Среди сотен писем от участников сражений на Среднем Дону было и это. Ветеран Иван Никитович Гудыренко из Киева написал о подвиге Василия Прокатова, который в наступательном бою у соседнего села Дерезовка закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Сам Иван Никитович не смог разыскать родственников однополчанина —

по указанному в документах адресу они не проживали. Учитель написал о герое в газету. Вскоре школьники вместе с Иваном Ивановичем Ткаченко получили письмо из города Харовска Вологодской области от Хеонии Мамоновны Прокатовой:

«...На фронт мой Вася ушел добровольцем, в августе сорок первого года, ему бы тогда в десятый класс идти. Сперва воевал где-то поблизости, на севере, откуда известил, что его наградили орденом Красного Знамени. Потом был тяжело ранен, семь месяцев пролежал в госпитале в Краснодаре.

А в начале декабря 1942 года пришла от него коротенькая весточка с Дона. И больше мы о нем ничего не знали — ни как погиб Василий, ни где эта Дерезовка — пока не принесли мне газету «Советская Россия» с вашей заметкой.

Я бы полетела на могилку сына, да мне уже 79 лет и недужится. Приезжайте вы, родные, ко мне».

Красные следопыты из Новой Калитвы побывали в Вологде, в Харовске. «Нас встречали цветами. Нас благодарили — вы вернули вологодской земле Героя, — вспоминает о той давней поездке школьница, ныне преподаватель истории Россошанского педагогического училища Светлана Петровна Шахова. — Сестра Прокатова, Тамара Николаевна, рассказывала нам о Васе: дескать, был он очень озорным, подвижным, любознательным. Спортсмен, очень любил лыжи, военное дело. Мог с завязанными глазами разобрать и собрать винтовку, пулемет «максим». Среди сверстников заводила. Ни друзей, ни себя обидеть не давал. Волосы рыжие, на лице веснушки. Но пусть только попробует кто обозвать «рыжиком». Сразу получит сдачу...

А еще в том путешествии в Москве Иван Иванович привел нас в красивый старинный особняк — Дом Дружбы народов. Здесь мы встретились с живым «матросовцем». К сожалению, фамилия его с годами забылась. Ветеран войны рассказывал: чудом остался жив — вражескую амбразуру он закрыл вещмешком и был лишь ранен».

* * *

Василий Прокатов совершил свой подвиг, когда на Дону начиналась наступательная операция «Малый Сатурн»... Первые цепи атакующих воинов шестой армии, 350-й стрелковой дивизии выбежали на донской лед, и вдруг ожили вражеские огневые доты и дзоты, умолкшие вроде насовсем в час артиллерийской подготовки. Наши орудия прямой наводкой пытались смести вражеские пулеметы, облегчить путь пехоте. Отчасти это помогло — по приставным деревянным лестницам, по веревкам с крючьями-кошками — солдатам удавалось взобраться на обледенелые меловые крутогоры. Завязались рукопашные схватки. Фашисты сопротивлялись отчаянно, на то их и настраивало командование, впрочем, не просто настраивало — после прорыва у вражеских орудий увидели прикованных цепями смертников.

Выяснилось — в ходе боя особенно важно было овладеть всхолмьем западнее села Дерезовки, откуда хорошо просматривались, а значит, и пристреливались пути-дороги фашистов из тыла к передней линии. У изножья горы залегли солдаты вместе с командиром отделения сержантом Василием Прокатовым. Атака срывалась — кинжальный огонь пулеметчика не давал поднять голову. И все же к середине дня сержанту удалось ползком подобраться поближе к дзоту. Не имея в руках к тому мигу оружия для уничтожения огневой точки, выбрав миг, Прокатов грудью лег на амбразуру. Разом и дружно ударили автоматы поднявшихся вновь в атаку товарищей. Важная донская высота была взята...

Указом Президиума Верховного Совета СССР Василию Николаевичу Прокатову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Помню, уже попав в газетчики, собирался ехать в Волгоград. Иван Иванович к тому времени заимел на дому телефон, заметно сокративший увязистые проселочные километры от Калитвы до райцентровской Россоши. Беседовали с учителем подолгу и часто, мне он был надежным советчиком почти в любом деле и внимательным, доброжелательным критиком по каждой серьезной газетной публикации. Располагал Ткаченко к себе настолько душевно, доверительно, что я без стеснения мог тревожить его телефонным звонком в любой час дня и ночи.

В тот раз, слушая напутственные пожелания старшего друга, спросил:

— Что вам привезти с Волги?

— Фотографию. Хороший снимок, — ответил учитель. — Как будешь всходить на Мамаев курган, увидишь — ЧТО нужно сфотографировать для меня.

Он особо выделил голосом это — ЧТО.

Иван Иванович отвечал с загадками. Был в нем от природы учительский дар общения с ребятами: серьезный разговор сочетать с игрой. Тому он оставался верен и в общении с повзрослевшими детьми. Будто угадывая твоё сокровенное желание, вдруг вытаскивал из своей всегдашней офицерской полевой сумки, уже заметно залоснившейся, нужную тебе позарез книгу, которую ты проворонил в местном магазинчике. Протянет тебе томик, ты, по-ребячьи возрадовавшись, онемело раскрываешь рот. А Иван Иванович посмеивается довольный.

Любил поразить потрясающей (слово из его словаря) новостью. Письмом ветерана, фотографией, официальным документом — она хранилась в этой же невидной на погляд сумке, до поры до времени держалась в памяти и выкладывалась зачастую в нужную тебе минуту.

Удивил учитель задачей в канун той поездки в Волгоград.

Поднимаюсь по серпантину асфальта к изножью памятника Родине-матери. У самой вершины Мамаева кургана я увидел, ЧТО должен заснять для учителя. С краев кроваво-мраморной плиты ладонью счистил падающий снежок, обогрел под воротом пальто фотоаппарат — а затем уж выбрал для съемки место поудобней, чтобы в центр снимка вместились золотом врубленные в камень буквы — «Герой Советского Союза Василий Николаевич Прокатов».

На Мамаевом кургане символические надгробные плиты возложены героям Сталинградской битвы. Бои на Среднем Дону были одним из составных этапов этого сражения, в котором миру зримо увиделся народ-победитель.

Подвиг предшественника Александра Матросова увековечен при содействии учителя.

Следопытом Ивана Ивановича называли не ради красного словца. Да, еще не заплыли землей окопы, война оставалась в памяти многих живой. Но любой поиск требовал от добровольного архивного «каторжника» умения разбираться в документах, умения добывать и сопоставлять свидетельства участников боев и много чего другого. Иначе не воссоздашь точно картину тех кровавых событий, чаще — трагическую. А ведь сердце у самого фронтовика — не камень.

При взломе вражеского фронта на Дону еще один воин, раскинув руки, крестом лег на амбразуру. Погиб героически и — остался неизвестным.

Можно представить неприступно оледенелую высоту над Доном. В нее с лета намертво врылись-вжились фашисты. При прорыве фронта гору не обойти. Ее штурмуют бойцы. Под прицельным вражеским огнем не поднять головы. А дана команда — «В атаку!» Чудом добравшийся невредимым к дзоту солдат в запале,

в горячах бросается на амбразуру. Падает, закрывает ее своим телом. Пулемет захлебнулся. Внезапная тишина как кнутом подстегивает залегших, все будто взлетают наверх. В минуты, кажущиеся мгновением, высота взята.

О герое напишут в дивизионной газете, посмертно представят к высокому званию. Но — соответствующий Указ не появится. Рядовой сгорел ярким пламенем на ветру, как по присловию — на миру и смерть красна. И унес с собой тайну своего имени. Пытался раскрыть ее Иван Иванович Ткаченко. Не удалось. Остались письма...

Однополчанин героя казак Капас Ошамбаев в книге мемуаров, которую он выпустит у себя на родине в Алма-Ате в 1984 году, ссылаясь на архивные документы, так напишет об этом: при захвате высоты 176,2 продвижению мешал губительный огонь станкового пулемета противника. Подобравшийся к дзоту красноармеец Протанов своим телом закрывает амбразуру и обеспечивает выполнение задачи своему подразделению. Речь идет о Василии Ивановиче Протанове из 555-го полка 127-й стрелковой дивизии, а не о Василии Прокатове. Оба подвига совершенны почти рядом, первый — у Новой Калитвы, второй — чуть ниже по течению Дона в боях за село Дерезовку.

Краевед Иван Иванович Ткаченко узнал об этом раньше, когда о торжествах при открытии памятника фамилия Прокатова прозвучала на всю страну в передачах радио, в печати. В школу пришли письма от участников тех боев с просьбой вырвать из забвения, воскресить еще одного героя.

Имя Протанова учителю встречалось и раньше во фронтовых газетах. Военское подразделение, место подвига, конечно, не указывалось точно — «на участке фронта». Сам бывший корреспондентом дивизионки Ткаченко поначалу считал, что случилась описка в фамилии, созвучно ведь: Прокатов-Протанов, а речь идет об одном человеке.

Письма фронтовиков подтолкнули искать истину.

Изначально она раскрылась в ответе сотрудницы Волгоградского государственного музея обороны. Она прислала выписку из донесения от 31 декабря 1942 года начальника политотдела 6-й армии Д. Нененко. Правда, попросила ее не подвешивать, не ссылаться на этот документ из Подольского архива Министерства обороны СССР. Во времена правления «волгогоновых-яковлевых», будущих перестройщиков и переключателей истории страны, доступ к материалам военных лет был очень осложнен.

Документ гласил:

«...комсомолец-сержант Прокатов (1180-й стрелковый полк 350-й стрелковой дивизии) в критическую минуту атаки резким броском к амбразуре вражеского дзота закрыл его своим телом, ценою своей молодой жизни дал возможность своим боевым товарищам проникнуть в глубь вражеской обороны.

Вслед за Прокатовым эхом откликнулся комсомолец Протанов (3-я рота, 555-й стрелковый полк, 127-я стрелковая дивизия). Будучи тяжело раненным, собрав последние силы, он тоже заградил своим телом пулеметный дзот, обеспечив продвижение роты вперед...

Героизм одиночек перерастал в массовый героизм».

Так прояснилось: героев было двое!

Но — почему один посмертно был удостоен высокой награды, а второй нет? Иван Иванович начал об этом «допытываться» письменными запросами у однополчанина Протанова. Ибо из главного управления кадрами Министерства обороны после проверки внятно сообщили: по учетным данным, Протанов Василий в числе награжденных не значится. Прокатову Василию Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза от 31.3.1943 года.

Пойск был безуспешным. Ответы приходили противоречивые, что вполне объяснимо. Тогда уже больше четверти века минуло после тех событий, время безжалостно стирало их в памяти фронтовиков. И для многих бой под Калитвой был не первым и не последним на тысячекилометровых верстах военных лет.

Но не зря же сказано: ищущий да обрящет. Нашелся памятливым человек — тогдашний заместитель начальника политотдела дивизии по комсомолу Яков Винокуров. Правда, Яков Васильевич открывался не сразу. Как бы выверял от письма к письму, с каким следопытом имеет дело. Откровенничать не спешил, на то были свои причины.

«25 августа 1969 года.

Здравствуйте, Иван Иванович! Сегодня приехал из Риги после отдыха и лечения, сердечко шалит. Дома лежит Ваше письмо. Спешу на него ответить.

...Теперь о Протанове Василии. Действительно он служил в 555-м стрелковом полку в первом батальоне, где командиром был капитан Нестеренко. Полк выполнял самостоятельную задачу по овладению Дерезовкой, а батальон Нестеренко находился в резерве комдива. Его ввели в бой для развития атаки на главном направлении — у Новой Калитвы. Высоту Меловую взяли и очистили от фашистов только к вечеру и уже ночью захватили высоту Фигурную. Там мы отбили 15 контратак, сходились врукопашную. Наших полегло много днем в ложбине, на моих глазах погиб комиссар второго батальона Шарипов. Помоему, при штурме Меловой, топографический номер ее не помню, геройски отличился Вася Протанов. Кстати, когда дивизия сосредоточивалась для наступления, ему вручили знаки сержанта. Батальон Нестеренко действовал на участке не своего 555-го, а другого — 547-го стрелкового полка. Это, пожалуй, и послужило причиной тому, что на Протанова сразу не представили наградной материал...»

«3 октября 1969 года.

...Вчера возвратился из колхоза, с группой своих сотрудников убирал картошку. Весь заряд здоровья, что получил на лечении в санатории, оставил в поле, а надеялся — на год хватит. Нуют все мои суставы и связки.

По поводу твоего письма. Я до сих пор вижу черные кружочки мин по склону Фигурной. Удивляюсь: карабкались по минному полю, и никто из нас тогда не взорвался.

...О том, что Протанова звали Василием, я уверен вот почему. В их стрелковом полку было два комсомольца, которых я долго путал: Василий Портнов из взвода разведки, уроженец Вольского района Саратовской области, и Василий Протанов из третьей роты. Им я вручал комсомольские билеты. У них было даже общее сходство в очертании лиц, окраске волос — черные и немного смугловатая кожа. Звания младших сержантов им присвоили одновременно после удачной разведки боем. Взяли пленных, давших ценные сведения. Один из пленных итальянец Маркони был оставлен переводчиком в штабе дивизии. Он окончил Миланскую консерваторию, говорил по-русски, позже вышел с нами из окружения под Харьковом, и его откомандировали в штаб армии.

Так вот — после вручения комсомольских билетов Протанова с Портновым я не путал. Хорошо запоминал всех комсомольцев, кого принимали в наши ряды на передовой прямо в окопах. Даже Мехлис Л.З. — тогдашний член Военсовета удивился, когда я его провел по боевым порядкам 549-го и 555-го полков от Верхнего Мамона до Русской Буйловки. На совещании поставил меня в пример. Это не в порядке хвастовства. Люблю всякую работу. На картофельном поле все мои ровесники, даже местные из сельских, считали себя устаревшими «копачами». Хоть и тяжело было, а я не отказывался, выходил убирать картошку.

Возраст Василия? Рождения с первой половины 1924 года или с 1923-го. Не старше. Всех их мобилизовали в марте-апреле 42-го. Ими полностью укомплектовали дивизию. Бывало — с пятницы в ночь на субботу в роте не оставалось ни одного человека, а затем все возвращаются с сумками, полными сухарей. «Дядь, вот и вам маманя гостинец наказывала передать». Эти ребята быстро станут настоящими солдатами. С ними дивизия станет Гвардейской.

Уроженец области Саратовской или Пензенской. Только оттуда тогда призывали молодежь.

В обороне отличился в разведке боем. Напротив села Карабута на Дону, штаб батальона находился тогда в Николаевке.

Где точно погиб Протанов? При штурме Меловой или высоты 176,2? Не могу точно утверждать. Хорошо бы посмотреть на местности. Когда дрались за высоту 176,2, очень удачно применили огнеметы для отражения психических атак пьяных фрицев. Считаю, что более вероятно Протанов закрыл амбразуру на Меловой. Ведь политдонесение о взятии Меловой я писал сразу после первых боев в Новой Калитве. О подвигах комсомольцев на высоте 176,2 составлял документы уже в Росоши, числа 20 января. Тогда же отправил в политотдел 3-й танковой армии залитый кровью комсомольский билет Протанова. Видимо, все эти донесения, документы были зарыты при отступлении под Харьковом. Я смог вынести лишь книгу учета выдачи комсомольских билетов, печать. Не знаю, нашли ли документы те после освобождения Харькова в августе сорок третьего, прятали их в Васищевском лесу.

Возможно, что Протанов погиб и на высоте 176,2 в первые дни боев за нее. Она много раз переходила из рук в руки.

Мне бы посмотреть своими глазами. Вдруг — Меловая и высота 176,2 — одно название. Помню на склоне хорошо замаскированный дзот с круговым обстрелом. Много наших ребят ползло под его огнем. Не знаю, как сам уцелел однажды. Приготовились для броска в атаку — куски мерзлой земли от пулеметной очереди, бившие из-под ног, поцарапали лицо. Снайперской разрывной пулей, что ли, срезало верх шапки-ушанки. Не пойму, сползает, закрывает глаза. Когда обнаружил дыру, сбросил шапку, остался в подшлемнике...

Будь здоров и счастлив, мой дорогой товарищ следопыт.

Спасибо тебе великое за труды твои, Иван Иванович.

Жму крепко руку твою — Яков Винокуров».

Дотошные «расспросы» учителя, чувствуется, не докучают Якову Васильевичу. Напротив, он, кажется, рад, что судьба послала ему доброго собеседника, серьезно и основательно занимающегося краеведением.

«9 ноября 1969 года.

...Вчера вечером, придя с работы, получил большой пакет от тебя и до поздней ночи читал, не мог оторваться, скупые строки справки о боевых действиях своей дивизии. Жаль, что очень мало сказано о людях, их боевых действиях. Они заслуживают большего.

Обнаружил ошибки. Снайпер Атямов — это Ахтямов Халим Юсупович, уроженец Новосибирской области, колхозный ветеринарный фельдшер, татарин. Протанов спутан с Прокатовым. О его комбате Нестеренко есть подробная заметка в газете «Родина зовет». Я сам был ее постоянным автором, писал о бойцах и офицерах, печатал даже вирши.

Читал и все вспоминал — как повторялась молодость боевая заново. Спасибо тебе. Возвращаю документ, не задерживая».

Скоре всего, что стараниями Ткаченко на Винокурова «вышел» журналист «Правды». В тогдашней самой тиражной газете страны появился материал о Протанове. Были изложены известные обстоятельства его подвига. О том же, обгоняя на полгода «правдивистов», поведал и Иван Иванович читателям районки в Россоши. Но главное о судьбе героя в печати не было сказано. Неожиданно вдруг газетные публикации существенно дополнил Винокуров в очередном письме учителю.

«1 июня 1970 года.

...Обстоятельства сложились так, что не смог я исполнить своего заветного желания — побывать в местах боев под Новой Калитвой. Хоть от Липецка моего к вам рукой подать. Теперь даже загадывать боюсь, а поехать так хочется.

...Расскажу тебе подробнее о Протанове то, что хотел сказать при встрече лично, а мало ли что случится, возраст уже.

Во время остановки для приема пищи на станции Ртищево начальник питательного пункта передал в батальон Нестеренко солдат, оставших от проследовавшего впереди эшелона. Среди них был Протанов. Всех троих зачислили в недоукомплектованную третью роту. Я как комиссар нашего поезда беседовал с новичками. Заметил, Протанов вроде как что-то скрывает. Взялся его опекать. Попросил и комсорга полка Нишева Евгения не упускать бойца из виду. А позже Протанов рассказал нам, что его отец работал в Средневолжском крайкоме партии. В 37-м его арестовали. Василия с сестренкой направили в детдом, после работал в колхозе. Чтобы его не попрекали, как сына врага народа, избрал себе фамилию Протанов, имя сохранил то, каким и нарекли родители, а отчество тоже вроде бы изменил, стал Иванович.

При вручении ему комсомольского билета Василий снова все искренне рассказал о себе. Не помню, называл ли он фамилию отца. Буду вспоминать. Кажется, что называл. Иначе я ему не вручил бы билет.

Что еще? Похоронили его в братской могиле в задонье на пункте сбора раненых 547-го стрелкового полка, неподалеку в лесу располагался командный пункт дивизии. Это пойма Дона, близко поля хутора или села Ольховатки».

Вот так! Не только война корежила человеческие судьбы.

«11 августа 1971 года.

Здравствуйте, Иван Иванович!

По твоей просьбе еще пишу, что помню о Протанове.

В фамилии новой он сохранил некоторые согласные буквы фамилии отца, имя оставил свое, отчество — по деду — отцу матери, мать была Ивановна. 1924 года рождения. Семилетку окончил в детдоме. Скитался по колхозам по правобережью Поволжья и в Пензенской области. В последних числах мая (29-го или 30-го) пришел на пересильный пункт в Ртищево и заявил, что отстал от поезда с мобилизованными в армию. Можно считать, что добровольцем ушел на фронт.

Воевал храбро. Когда во время разведки боем у села Карабута был ранен командир отделения, принял командование на себя. Его утвердили в этой должности и присвоили звание младшего сержанта. Перед наступлением снова отличился в разведке боем. Ему повысили звание, стал сержантом.

Жаль, конечно, что истинное имя героя неизвестно».

Иван Иванович упорно не желал на этом ставить точку. Дело в том, что и его самого в молодости схоже осиротила судьба. В тридцатые годы отец, сельский бухгалтер, Иван Степанович был арестован и сгинул в лагерях Коми, посмертно реабилитирован в пятидесятые годы.

Ткаченко рассылал письма в Поволжье. Из Саратова отозвалась журналист Воля Ефимовна, «имя мне отец, старый коммунист придумал».

«О Протанове. Была в управлении КГБ. Искали-искали, ничего подходящего не нашли. На другой день еще позвонила им (велели). Сказали, что есть в списках бывший секретарь райкома КПСС (Кировского в Саратове) Платонов Тимофей Андреевич, осужден в июле 37-го военной коллегией Верховного суда. Ухватилась за это. Пошла в партархив. Нашли его личное дело, письма жены, датированные 1957 годом, ходатайствовала о пенсии. Написала ей в Новотроицк бывшей Чкаловской области, жду отклика. О семье в личном деле, к сожалению, сведений нет. Но помнят его люди, говорят, что у него были сын и дочь!

Не знаю, может, ложный след, но проверить его следует. Платонов действительно был работником Нижне-Волжского крайкома. Реабилитирован.

Я даже отыскала дом, где он жил. Жена тоже была арестована, дети отда- ны в детдом. Но вот был ли сын?

Как получу что-нибудь из Новотроицка (ответит же кто-нибудь!) — сообщу Вам».

«Уважаемый Иван Иванович! Платонова мне ответила, но, к сожалению, у них в семье не было сына.

По документам архива у Платонова на иждивении были младшие братья и сестры. Может, Василий назвал отцом своего брата?

Вот адрес Марии Федоровны Платоновой. Вдруг она помнит семьи репресси- рованных».

«Получили Ваше письмо. Спасибо за заботу и душевную теплоту, несите это тепло людям, его так не хватает у нас. Иван Иванович, мама больна, поэтому пишу я — ее дочь. Жаль Вас огорчить, но у папы брат Василий был постарше, в войну на фронте не был, работал следователем. В семье из детей я одна, маленький Юрик умер месячным, да это и к лучшему, по крайней мере, ему не пришлось пережить то, что выпало мне, я ведь тоже прошла через детдом.

Напишу подробнее, чтобы Вам понятнее была структура распределения де- тей. В Саратове всех привозили в детский распределитель. Там держали до трех месяцев, а потом партиями отправляли в детдом, причем — разделяли дошкольников и школьников. Так терялись братья и сестры, потому что стар- шим не сообщали адреса младших.

Я попала в детдом на станцию Донгуз за Оренбургом. Отправляли в Май- коп и куда-то еще — на юг, теперь не помню. Теперь Вы представляете, что очень трудно установить точно личность Василия. Судя по поступку, вырос он человеком мужественным и честным. Может, и отец его уже реабилитиро- ван.

Очень хочется помочь Вам, но уж слишком все запутано. Я старалась вспо- мнить мальчишек из распределителя, но среди них не было Васи.

Можно поискать списки детей репрессированных. Или в партархиве обкома установят фамилию отца? Учетные карточки ответработников хранятся сейчас.

Вижу, написала много, а пользы никакой.

Очень хочется все узнать, если найдете что-то о Василии, напишите не- сколько строк.

С уважением — Берта Платонова-Тетеря».

— Иголку в стоге сена легче разыскать, — подумал, наверное, учитель, прочи- тав письмо. И — писал очередное послание уже в Куйбышев, нынешнюю Самару.

«Дорогой Иван Иванович, извини, задержался с ответом.

Краевое деление в Поволжье существовало до 1937 года. С 1929 года Средне-Волжскую область преобразовали в край, в 35-м переименовали в Куйбышевский.

В начале зловещего действия врагов Советской власти, использовавших культ И.В. Сталина, я был студентом и находился в активе комсомола. Все бурные события того года проходили на моих глазах. Знал многих работников крайкома. Перебрал их в памяти, с приятелем-следопытом порылся в газетах, сборниках, ничего близкого к Протанову не нашли. Называя некоторые фамилии — Полбицин Георгий Трофимович, предрайисполкома, Шубриков Владимир Петрович, второй, а затем первый секретарь крайкома, Поскребышев (имя и должность не вспомнили), П.П. Постышев работали у нас в те годы.

Об их детях ничего не знаем. Но если побеседовать с бывшими работниками крайкома, заглянуть в их собственные архивы, то, может, и найдем искомое».

Продолжалась переписка и с Винокуровым.

«19 декабря 1972 года.

...Почему я сразу еще в 43-м не рассказал все, что знал о Протанове? Боялся оказаться там, где отец Протанова голову сложил? В то время я не мог никому сказать, что выдал ему комсомольский билет, паренек доверил мне свое сокровенное.

Напишу обо всем теперь в Президиум Верховного Совета СССР — пусть решают.

Будь здоров и счастлив во всех твоих делах и поисках».

Учитель установил: был такой подвиг.

Ткаченко стремился, хотел воздать памяти Протанова все те почести, которые он заслужил.

Памятуем словами народного поэта: «не ради славы, ради жизни на земле» лжались на фашистские пулеметы Матросов, Прокатов и Протанов (поразительная ведь судьба, кровно обижен властью, скорее всего, даже несправедливо — ему бы мстить ей, а он на фронт вырвался, он — Родину спасал).

Думаю о своем. Мальчуганом-пятиклассником услышал-узнал о «нашенском» Матросове. Потрясен этим был так, что заговорил о Прокатове — стихами, даже осмелился их прочесть с клубной сцены. Причем не один я, на свой лад пытались сказать о герое стихотворной строкой мои сверстники.

Опять-таки — Иван Иванович отыскал любопытнейший факт. Дотошным знатокам современной литературы, пожалуй, известно, что один из читаемых и заслуженно почитаемых наших писателей Василий Иванович Белов входил в литературу стихотворным сборником. Так вот — в той первой поэтической книжке «Деревенька моя лесная» одно из стихотворений навеяно поиском школьников — красных следопытов из Новой Калитвы Воронежской области.

Есть могила над Доном,
Где мой тезка лежит,
А над ней, как и дома,
Летают стрижи.

Те же шорохи трав
На дорожных обочинах,
Так же дуют ветра,
Как в лесной Вологодчине.

Ветлы ветками машут
Над могилой солдата,
Горечь позднюю нашу
Не слышит Прокатов.

Ах, Василий, Василий —
Герой кузовлевский!
Сколько нынче в России
Сердец комсомольских.

По июньским ночам,
По дорогам целинным
Бьют ребят по плечам
Не свинцовые ливни.

Запекаются губы
Не в кровавом бою
У парней-лесорубов
В вологодском краю.

Но как прежде гудит
Наша юность набатом,
В каждой юной груди
Бьется сердце сержанта.

К счастью светлому двери
Нам открыть по плечу!
В смерть солдатскую верить
Я, друзья, не хочу:

Будут новые даты
И новые боли...
Будет Вася Прокатов
Навек в комсомоле!

Пусть не сеет, не пашет,
Не поет наши песни —
Звонкой юности нашей
Он вечный ровесник.

Он навечно в строю
В нашей правде и силе,
Сердцем сына в бою
Заслонившим Россию.

И еще — на библиотечной полке мне встретился изданный в Киеве в 1945 году сборник «От Сталинграда до Вены (3-й Украинский фронт)». Просматриваю и вижу стихотворение фронтового поэта Бориса Весельчакова — «Василий Прокатов».

Луна встает
В седых волнах тумана.
Проходят тучи
Стройной чередой.
В донской степи,
У старого кургана,

Лежит сержант
Под красною звездой...
Он молча полз
Сквозь орудийный вой,
Чтоб заслонить
Всем телом амбразуру,
Чтоб совершить
Бессмертный подвиг свой.
В последний раз
Перед его глазами
Качнулись звезды,
Рухнул небосвод...
Он увидал развернутое
Знамя —
Его несли товарищи
Вперед.

Смею утверждать, что разновременная и разновозрастная цепная стихотворная реакция вызвана, прежде всего, потрясением души человеческим подвигом. Волновавшие в тот миг раздумья «о доблестях, о подвигах, о славе» просто не могли оставаться в себе, просились выплеснуться на люди. Срабатывало не только рождающееся чувство преклонения подвигу, потрясала даже малая личная сопричастность — герой на твоей земле, вологжанин.

Конечно, тогда не думал о подвижничестве того, кто воскрешал, возвращал героев из небытия. Что означало для близких — найти родимую могилу, на долгие годы означенную лишь скупой строкой — «погиб». Ветерана неожиданной радостью одаривало найденное школьниками сообщение о боевой награде, лежавшей в архивах. Дорогими становились встречи однополчан в местах былых сражений, не только им они прибавляли сил, наставляли молодых — с кого делать жизнь.

Наверно, и сам учитель был так охвачен счастьем поиска, что вряд ли поспевал осмыслить значимость своего труда.

Большую часть не занятого школьными уроками времени проводил в дорогах. Особенно участились эти поездки, когда Иван Иванович как инвалид войны в пятьдесят пять лет «выправил» свою пенсию, не оставляя насовсем школу. Телефонным звонком коротко предупреждал об отъезде.

— В Москву направляюсь, на заседание в Академию педагогических наук приглашают.

— Выступаю на научной конференции. Заодно в архивы загляну.

— В Воронеже краеведы собираются.

По возвращении зачастую гостил у меня два-три часа, с поезда ожидая автобуса. За обеденным столом выкладывал опять-таки только потрясающие известия, иных у него в запасе не водилось, не хранилось.

Душевной силы — здоровья, к сожалению, не скажешь — у Ткаченко хватало. Он обладал особым умением создавать, как тогда говорили, общественное мнение. Своим человеком считался в деревенской хате. Умного собеседника встречал в нем секретарь райкома партии. Небезрезультатными оставались разговоры с работниками областного и столичного рангов, с академиком и маршалом. Силу печатного слова Ткаченко использовал на полную мощь — от районной газеты до центральных изданий.

Одержимость учителя краеведческим поиском непременно передавалась людям — безучастных не оставалось.

Узнавал Иван Иванович от пожилого односельчанина, что племянник старика в панфиловцах на ближних подступах к Москве принял бой с врагом. Бой, о котором в «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 годов» сказано так: «Группа истребителей танков 1075-го стрелкового полка 316-й дивизии совершила в этот день свой бессмертный подвиг у разъезда Дубосеково. 28 героев приняли на себя удар 50 вражеских танков. Четыре часа длился этот легендарный бой». Прорвать оборону врагу не удалось.

Так вот, по словам старика Иосифа Ивановича Каленика, в числе героев был уроженец суходольного села Стеценково. Конечно, говорил об этом крестьянин не только Ивану Ивановичу, но и людям повыше должностью и чином. Удивлялись: надо же, из глухого степного сельца вышел герой, а мы, мол, и не ведаем. Выражали сомнение — фамилии-то различались, в наградном списке панфиловец поименован Калейниковым.

Ткаченко в архивных делах нашел наградной лист, другие документы, подтверждающие, что, действительно, уроженец Воронежской области Дмитрий Митрофанович Каленик (фамилия была переделана на иной удобозвучный лад) «как верный сын советского народа, отдал свою жизнь в неравном бою во главе с политруком Клочковым, защищая Москву. За проявленные доблесть, мужество и героизм в борьбе с германским фашизмом» удостоен звания Героя Советского Союза.

О выверенном документально факте учитель известил местные органы власти, написал в газете, выступил по радио — щедро подарил материал для очерковых зарисовок журналистам. О героe-земляке заговорили на торжественных митингах в День Победы, на уроках в школьных классах. Хлопотами учителя — на родину, в свое степное Стеценково, Дмитрий Каленик возвратился. Изваянный в камне панфиловец встал на постамент у обелиска воинам-односельчанам.

Сельский школьный музей и его главный хранитель стали известны всей стране. Почтальон ежедневно приносил кипы писем.

«Дорогие товарищи!

Мне стало известно через Россошанский военкомат, что мой брат Заречанский Василий Прокофьевич, 1910 года рождения, погиб, защищая ваше село 22 декабря 1942 года. Предполагается, что он похоронен в братской могиле в Новой Калитве. Я бы хотела точно узнать, есть ли в списках похороненных в этой могиле имя моего брата и есть ли сведения, при каких обстоятельствах он погиб. Буду очень благодарна, если получу ответ.

С сердечным приветом Заречанская Людмила Прокофьевна. 9 мая, 1966 год»

«Здравствуйте уважаемые красные следопыты и ваши учителя!

Я, бывший красноармеец, участник Великой Отечественной войны Крекша Николай Иванович недавно услышал по радио о новокалитвенских красных следопытах. Я, как участник боевой операции «Малый Сатурн», перед наступлением находился как раз напротив вашего села на левом берегу Дона. Уважаемые товарищи, у меня к вам большая просьба, сообщите, какая рота и полк обороняли фронт под Новой Калитвой, а также номер госпиталя».

«Уважаемый Иван Иванович!

17 января 1943 года в районе Россошь-Калитва погиб экипаж самолета ПО-2. Он был сбит. Летчик, будучи раненым, немцами был зверски убит, а штурман пойман и живым сожжен в деревне, будучи привязанным к столбу. Наши войска пришли к месту гибели через несколько часов. Труп летчика отвезли в город Россошь и там похоронили. Название деревни не помню. Помню, что ехали на машине по снегу часа два. У меня к вам большая просьба разыскать то село.

Полковник Салов, участник Острогожско-Россошанской операции».

На получаемые письма учитель и юные краеведы всегда давали подробные ответы. Зачастую переписка с участниками боев и родственниками погибших шла годы. Многим людям помогли Иван Иванович и его ученики. Кто-то утишил свое горе, узнав, где обрел вечный покой родной человек. Кто-то восстановил звание участника Великой Отечественной войны и положенные ему льготы. Спустя годы, кому-то вручили награды военных лет, о которых воин даже не знал.

Бывало, отчаявшись разыскать своих близких, люди писали письма Ткаченко с просьбой помочь в розыске пропавших неизвестно в каких краях.

«Уважаемый Иван Иванович! Дорогие красные следопыты Новокалитвенской школы!

Я прошу вас разыскать моего сына Нагорного Михаила Михайловича. Я, Нагорная Наталья Савельевна — мать его. Он пропал без вести. Прошу вас, как мать...»

8

Как-то Ткаченко послал учеников, раскрепив их по сельским улицам, записывать воспоминания участников войны. Встретив учителя, пожилая односельчанка высказала обиду:

— Отчего мой двор школьники стороной обошли. Других записывают, а у меня муж и два сына на фронте полегли...

По словам Ивана Ивановича, подтолкнул его к воссозданию сельских родословных именно этот случай.

Скажем обобщенней: к такой важной мысли учителя привело углубленное исследование родного края. Труженические родословные давали возможность — «наяву увидеть перед собой самую радостную перспективу: ценность человеческой личности» (по А.С. Макаренко) осмыслить «на конкретных фактах и примерах истоки народного трудолюбия, стойкости в испытаниях, настойчивости в достижении цели, верности долгу, народу и Родине» (по И.И. Ткаченко). Выдержки взяты из книги, в создании которой участвовал и учитель, «Педагогическое наследие А.С. Макаренко и современная школа», издательство Воронежского университета, 1981 год, стр. 153.

И в этом поиске Ткаченко, его учеников ожидали редкостно неповторимые удачи. Открывали именитых земляков.

Семен Михайлович Буденный своим первым учителем называл генерал-лейтенанта русской армии, отдавшего талант и знания молодой Советской республике, Снесарева. Родом Андрей Евгеньевич из Старой Калитвы. Каждый человек неповторим, но Снесарев — судите сами — профессор математики и певец, путешественник, ученый-исследователь Индии и талантливый лингвист, владевший четырнадцатью языками, начальник Академии Генштаба рабоче-крестьянской Красной Армии и ректор Института востоковедения, один из первых в стране Героев Труда, почетное звание присваивалось за особые заслуги перед государством до учреждения высшей степени отличия — Герой Социалистического Труда.

В шолоховском «Тихом Доне», в романе, отличающемся необычайно точным исторически повествованием, глаз учителя зацепился за упоминание о командире Красной Армии Домниче, фамилия не из редких в здешних местах. Иван Нестерович, подтвердили ученые-историки, действительно, был уроженцем россосшанского села Морозовка. По-своему примечательна, своеобразна биография: солдат-кавалерист дослужился до унтер-офицера, получил чин вахмистра, воевал в Первую мировую, участвовал в революциях, избирался делегатом III съезда Советов и членом ВЦИК РСФСР, бесстрашный комбриг в 1920 году посмертно награжден вторым орденом Красного Знамени.

Выявилось, что основателем и первым комиссаром Северного военно-морского флота стал Захар Александрович Закупнев, выходец из Терновки, села у речки Черной Калитвы.

При случае Ткаченко в печати, с трибуны сразу же хлопочет о присвоении школам упомянутых сел имен Снесарева, Домнича, Закупнева — дабы дольше хранились в памяти потомков деяния славных земляков.

Для участников краеведческих исследований — учителя и его учеников, читателей районной и областных газет — важно было не только то обстоятельство, что находились односельчане, отмеченные энциклопедической строкой. Ведь «за первым углом», в каждой напутной избе, постижение судьбы живших и живущих в ней вело к постижению Родины, исподволь утверждая в сознании убеждения, о которых искренне сказано еще Пушкиным: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Бедняк из бедняков калитвянский сапожник Осип Соколов. Ушел с детьми на заработки в низовья Дона и умер там от истощения — в осенний час, в холодный дождь, под каким-то казачьим ветряком, пока его сыны бегали в хутор за подмогой. Отчаянно же боролись подростки-соколята за новую жизнь: старший, Аким, сложил голову в боях под Орлом в девятнадцатом. На фронте находилась и его сестра Матрена. Младшему Григорию, одному из первых комсомольцев Калитвы, Советская власть помогла получить высшее образование, доверяла ответственные посты. А сын Григория, внук неграмотного калитвянского сапожника, Виталий Соколов, среди тех, кто отправляет в космос корабли.

В Александре Конотопцеве любознательный читатель может узреть продолжение судьбы не отмаявшегося на страницах «Тихого Дона» Григория Мелехова. Случись, изменят свои досужие суждения современные искусствоведы, все продолжающие «крестьянского Гамлета», «собственника» и вконец задичалого «одинокого волка» «прямым ходом в могилу» гнать.

Прошел Конотопцев круговерть гражданской, побывав и у белых, и у красных. Позже отмечен именованным жетоном губчека с тисненой надписью по серебряному щиту — «Храброму бойцу революции». Был лучшим комбайнером области. Отечественную войну прошел разведчиком в армии Чуйкова от Волги до Берлина. Вернулся домой с двумя орденами Славы и вновь вывел комбайн на ниву. А в апреле 1971 года вся Калитва смотрела по телевизору, как уже сыну Конотопцева, делегату партийного съезда, в Большом Кремлевском Дворце вручали орден Ленина — за трудовую доблесть.

С пушкой, собственно купленной, сержант Степан Павлович Смоляков прошел дорогами войны до самого Берлина. Расстался с оружием на Эльбе, чтобы через годы встретиться вновь — у памятного постамента в городке, где обосновался после войны на жительство калитвянин.

Задумаешься — по-своему пронзительная жизнь не отмеченной с виду неслышанным героизмом деревенской женщины, безвыездно проживающей здесь, в донской слободе, которая отвечает о себе, о своей родословной односложно:

— Работаю, сынок, работаю. Весь век. Деды по крестьянскому делу, и прадеды. Война только отлучала нас с поля.

Вся жизнь, как на долгой ниве: думаешь, располагаешь одно, а оно выходит по-другому. Цепь памяти вяжется звеньями живой судьбы.

Бывает у русского в жизни
Такая минута, когда
Раздумье его об Отчизне
Сияет в душе, как звезда.

Над отчим кровом звезду памяти зажег слободской учитель.

Вновь припоминаю его слова: «Такая уж здесь местность».

Писал эту строку учитель, не преисполненный гордыней самодовольного местничества — пораженный собственными открытиями, своей слободской повестью.

Дело, конечно, не в особой отмеченности Калитвы. Любая местность, любая деревушка нерасторжимо повита суровой нитью с судьбами Отечества. Увидеть эту связь дано не каждому. Донская слобода была очастливлена своим летописцем, собственным хранителем памяти.

9

Признание заслуг учителя зазвучало со страниц книги отзывов школьного музея — детища Ткаченко.

«Ваш музей — большая, очень нужная работа для подрастающего поколения. Это живая школа воспитания. Учителя из Богучарского района».

«Вы прекрасно поняли и показали, что живые в вечном долгу перед павшими за нашу Родину. Д. Калинина, участница боев за Новую Калитву, военная телефонистка».

«Горжусь тем, что ученики моей школы так любят и знают родной край. Н.Н. Светличная, выпускница».

«Мы, участники похода боевой славы, учащиеся школы № 15 города Днепропетровска, посетили ваш историко-краеведческий музей. Нам очень близка работа, которую ведут красные следопыты школы. Особенно хочется сказать большое спасибо вашему наставнику Ткаченко Ивану Ивановичу. Он учит вас и нас тому, как нужно бережно и старательно собирать материалы о людях, которые отдали свою жизнь за наше счастье. Большое спасибо!»

«Дорогие ребята!

Мы приехали из Вологодской области. Сердечно благодарны вам за то, что вы так заботливо храните память о нашем земляке Герое Советского Союза Василии Прокатове. Большое спасибо вам за все! Мы обещаем свято хранить память о нем. Нам очень понравился ваш музей, особенно диорама, посвященная подвигу Прокатова.

Учащиеся Харовской средней школы № 1».

«Нам, представителям школы № 177 города Горького, очень интересно было познакомиться с вашим замечательным музеем. Гордимся дружбой, которая завязалась между нашими школами».

«Нас тронуло, как ваши дети сумели создать такой ценный музей. Очень понравилось, как школьники уважают солдат Великой Отечественной войны, которые освободили и нашу Родину от фашистских захватчиков. Друзья из Чехословакии».

«Мы приехали из далекой Якутии, чтобы поклониться могиле бойцов, в которой похоронен и наш отец Петр Сафронович Винокуров. Нас поразило старание красных следопытов. Все, что вы сделали, — благородно и священно».

«Наше впечатление трудно выразить словами. Вьетнамские студенты».

Самых разных людей сводили музей и дом учителя.

В донской слободе с учителем встретились писатель Сергей Сергеевич Смирнов и итальянский киносценарист и режиссер Эннио Де Кончини. Замышлялось со-

здание антивоенного фильма «Они шли на восток», фильма о той трагедии в истории итальянского народа, когда в излучине Дона против русских встали в заснеженные окопы итальянцы.

Фильм прозвучал с экранов разных стран, осуждая кошмары войны. Предваряющие сценарий слова — «Всем, кто оказал помощь в работе над фильмом, авторы приносят свою благодарность» — адресованы и сельскому учителю.

В благородном поиске следопытам помогал Александр Трифонович Твардовский.

«Уважаемый Иван Иванович!

Ваши сведения о том, что «Надя Кутаева (участница боев за Новую Калитву — автор) воспета в одном из стихов А. Твардовского», не совсем точны: у меня есть очерк «Надя Кутаева», написанный в 1942 г., зимой, и напечатанный тогда же во фронтовой газете «Красная Армия». Теперь его можно найти в моей книге «Родина и чужбина» (Собрание сочинений, т. IV).

Еще о Кутаевой могу сообщить, что два года назад она писала мне из Бреста (БССР), просила помочь в отношении квартиры, — я по этому вопросу писал в разные инстанции, — кажется, дело устроилось...» (Собрание сочинений, Москва, «Художественная литература», 1983 год, т. VI, стр. 244).

Обрадовало поддержкой и это памятное письмо.

«Уважаемый и дорогой Иван Иванович! Ваша военно-патриотическая деятельность вместе с юными следопытами Вашей школы восхищает и радует. Достигнутые Вами успехи великолепны!

*Ф. Голиков,
Маршал Советского Союза.
4 февраля 1969 года».*

Уверенности и сил придавало газетное слово журналиста, писателя, ученого.

Из рецензии Академии педагогических наук РСФСР на доклад И.И. Ткаченко к педагогическим чтениям 1957 года: «Каких значительных результатов можно добиться в воспитательной работе даже в маленькой сельской школе, если вложить в дело подлинный энтузиазм и самостоятельность».

Новокалитвенская районная газета «Красное знамя», В. Яковлев: «И на благородном поприще учителя, и в качестве лектора, и как селькор Ткаченко постоянно стремится к тому, чтобы все узнанное им содействовало повышению культуры тружеников села, особенно молодежи».

Росошанская районная газета «За изобилие», А. Прасолов: «...Со второго этажа школы виден донской простор. Иван Иванович смотрит на меловые берега, где еще заметны следы окопов. Звенит звонок. Пора на урок. И где, как не на уроке истории, можно пробудить в юных душах самое сильное и высокое чувство — любовь к этой жесткой, нагретой солнцем земле, имя которой — Родина...»

Воронежская газета «Коммуна», В. Довгер: «Учитель И.И. Ткаченко, сам инвалид Отечественной войны, обратился через районную газету с призывом «Пусть не останется на нашей земле ни одного безвестного подвига!»

Журнал «Подъём», В. Комов: «Немалое счастье не только сообщить ветерану о «заплутавшей» на фронтовых дорогах награде (а таких давнишних наград стараниями следопытов вручено более десятка), но еще большее счастье видеть, как твои воспитанники обретают самые высокие гражданские чувства».

Воронежская газета «Молодой коммунар», М. Тимошечкин: «Остался в степи медальон, нашли его на свекловичной плантации жители хутора Новопостояловка, что километрах в семидесяти от Новой Калитвы. Развинтили патрончик, а в

нем полуистлевшая бумажка с солдатским адресом. Передали медальон в Новую Калитву, «тому учителю, что всех разыскивает». «Каменец-Подольская область, Летичевский район, Погорельский сельсовет, село Лисово-Березовка» — эти слова разобрать было можно. Но вот фамилию родных не разберешь: «Меланья Сергеевна Воз...», а дальше все стерлось.

Вскоре из далекого украинского села пришла весточка:

«Вы даже не представляете, какое это чувство — вдруг получить известие об отце, о котором мы 23 года ничего не слышали, а я так вообще его никогда не видел и не знал...»

Идут и идут в Новую Калитву письма. Нетерпеливо вскрывает конверты сельский учитель, жадно вчитывается в каждое слово, анализирует, сопоставляет, чтобы поведать людям о новых открытиях, о новых именах и подвигах. И, видимо, ни на минуту не задумывается над тем, что страстная увлеченность благородным делом, неутомимый труд его — это тоже большой патриотический подвиг».

В марте 1981 года Общественный совет краеведов, действующий при Воронежской областной библиотеке имени Никитина, пригласил горожан на творческий отчет сельского учителя И.И. Ткаченко. По отзыву местной печати, вечер получил «большой резонанс».

10

Становится как-то не по себе от мысли, что пути-дороги Ткаченко могли выпасть иные: Московский университет, за плечами аспирантура Ленинградского — отчего бы ему не закрепиться преподавателем в каком-нибудь институте? Вне сомнения, наука располагала на пополнение серьезным ученым, к существующим монографиям добавилась бы еще одна, весомая, у студентов бы на виду числился лектор.

Так, кстати, вырисовывалась жизнь у нашего современника Федора Александровича Абрамова, писателя первой величины. Отмеченный званием кандидата наук, Абрамов писал книгу о творчестве Шолохова. Продолжение этой работы, конечно же, стало бы приметной страницей в литературоведении. Но что значили бы научные обретения с потерей «Братьев и сестер» в отечественной литературе!

Точно так же — для меня, смею верить, и моих земляков — непредставима иная жизненная стезя Ивана Ивановича Ткаченко.

Будущим учителям — учащимся Россошанского педагогического училища на мартовских школьных каникулах Ткаченко ряд лет читал короткий курс краеведения. Собственно выстраданный предмет учитель поименовал несколько научно, но емко — «Краеведческий поиск — путь к познанию духовных ценностей общества».

Призыв к познанию означает — и к приумножению.

Как-то в распутицу водополье и непроезжие проселки не позволили учителю, как званому гостю, попасть на юбилейные торжества в педучилище. Под его диктовку по проводам записывал текст открытки поздравительной, с улыбкой предугадывая велеречивый строй речи учителя.

«Племя младое, незнакомое, чей не нам уж зреть солидный возраст зрелый! От всего сердца поздравляю всех вас, преподавателей ваших с золотым юбилеем. Шлю самую искреннюю признательность, что и мои трудно отрадные искания осчастливили вы вниманием и поддержкой.

Будьте искателями, держайте жизнь собственным умом (а не внушенными понятиями), не жалейте сил для одоления схоластики и школьной скуки. Пусть

и для вас краеведение обернется животворным жизневедением! Будьте всегда молоды, энергичны, незанудливы, добры — словом, достойными называться подлинными наставниками тех, кого доверит вам Родина, народ, родители, тех, кому доведется жить и творить аж в фантастическом двадцать первом веке. Пусть вам всем перейдут самоотверженность и удачливость, дух и мудрость славных предтеч наших. А от них — скажем сегодня, как клятву:

*Нет, те утверждения лживы,
Что скрылись вы бесследно во мраке тьмы,
вас с нами нет.
Нет, вы в нас живы,
Пока на свете живы мы.*

Искренне ваш Иван Иванович Ткаченко».

Искренне мой и твой.

В ту пору я открывал себе отечественных философов.

По Слободской Украине, в который раз обживавшейся полуденной окраине Российской державы, — нашими степями ходил в восемнадцатом столетии философ и поэт Григорий Саввич Сковорода. И через века вызывал он на «разговор дружеский о душевном мире».

В книжной тиши Румянцевского музея, позже выросшего в главную библиотеку страны, вынашивал думы о безграничном развитии человечества скромный библиотекарь Николай Федорович Федоров, предсказывал «день желанный, от века чаемый, необъятного неба ликование... когда земля, тьмы поколений проглотившая, небесною сыновнею любовью и знанием движима и управляемая, станет возвращать ею поглощенных».

Судьба этих мыслителей наталкивала на сопоставления.

В учителе мне виделся подвижник сродни отечественным философам. Они жили нравственным воскрешением человечества, учитель воскрешал лучших сынов в памяти людской.

Укрепил мои раздумья писатель Владимир Алексеевич Чивилихин. Нетерпеливо вчитываясь в отрывок журнальной публикации романа «Память», отчеркнул, как свое.

«Должно быть, всюду можно найти человека, который сильнее других любит и лучше прочих знает родные края — живые подробности больших событий истории, когда-либо посетившие эти места, приметные строения в округе, в том числе и навсегда уничтоженные войнами и небрежением, предания, родословные, судьбы интересных земляков, драгоценных документов и вещей. Их называют привычно краеведами, происходят они из бывших учителей, врачей, журналистов, военных, музейных, партийных и советских работников, и новая их служба, в которой они пребывают незаметно, часто донельзя скромно, чрезвычайно важна и нужна — они прививают согражданам привязанность к их родине, а через нее — к большой Родине, к миру и жизни, а сами эти увлеченные отставные трудяги, кажущиеся подчас чудаковатыми, составляют кое-где высшую духовную ценность местного общества, потому что выступают в добровольной роли хранителей памяти».

Чивилихин писал, будто о моем, как говорили в старину, духовном наставнике.

Тогда слова эти, разумеется, я взял на перо, намереваясь коим-то образом употребить в рассказ об учителе, который хотелось приурочить к его шестидесятилетию.

Поторопил Михаил Федорович Тимошечкин, поэт и журналист из рати фронтовиков-краеведов, прочитал (по секрету на критическую пробу) стихи, посвященные юбиляру.

Стареют милые Калитвы,
Живая и седая даль,
Твои весенние молитвы,
Твоя осенняя печаль.

Услышишь юным в песне звонкой
Души народный давний стон —
Войдет судьба живую звенкой
В связь поколений и времен.

Почудится в крестьянском слове
Последний выщелк соловья —
Поймешь: любимых родословий
Все убавляется семья...

Все ярче праздный и убогий
Электроламповый рассвет.
А на ветвях генеалогий
Редеет яблоневый цвет.

Не оставляет продолженья
Чужой истории скрижаль.
И сердце жаждет возвращенья
К тому, что дорого и жаль.

И вновь весну в красе былинной
Грачиный возглашает грай,
И оживает край старинный,
Центрально-Черноземный край.

Край, где земля всему основа —
И встарь и впредь на все века, —
Где станет полноводной снова
Народной памяти река.

Михаил Федорович не утерпел, до означенного срока познакомил Ивана Ивановича с этими стихами. Ткаченко, помнится, отшутился:

— Чего, мол, друже, спешишь. Думаешь, до шестидесятилетия не доживу?

Оказывается, вышла ошибка — учитель-то встречал пятьдесят девятый год от своего дня рождения. Наброски рассказа я отложил. И зря. Разговор ведь оказался пророчески черным: шутили на провесне, а полгода спустя, на самом исходе осени, Ткаченко скоропостижно скончался.

Ушел — и в твоём мире вдруг стало пустынно. Наотмашь хлестануло сердце очевидной горькой мыслью: никто не восполнит этой утраты, какими бы ни выпадали тебе дороги и встречи на ней, «нет его, и не увидишь никогда, и все вокруг тебя молчит, и самый зов свиданья мрет безответно в бесчувственной дали».

Москва встречала своих защитников, отстоявших столицу жестокой осенью сорок первого. Мало кому выпало разминуться со смертью на войне, а после — измытаренному телесно и душевно — дожить, дожидаться сороковой годовщины великого сражения.

Гремели на вокзалах, усиленные громкоговорящими радиоколоколами, приглашения дорогим гостям. А он, выстоявший в «белоснежных полях под Москвой», отчего-то по-детски радостно так ожидавший этих юбилейных торжеств, вдруг заторопился к билетной кассе за обратной плацкартой, неожиданно, наверное, и для самого себя засобиравшись домой, в свою слободу.

Ивану Ивановичу немоглось еще в канун поездки. Обычно на нездоровье он не жаловался, не пристращался к вину и табаку — это немало значило. На нескончаемые поездки, не обставленные особыми удобствами — тряские автобусы, какие попадались поездные вагоны, ночевки вокзальные и у друзей по случаю — на все такое его пока хватало. Но летом прозвонил тревожный сигнал: как зачастую бывает, ни с того ни с сего с Иваном Ивановичем случился обморок. А когда пришел в себя — часть тела не повиновалась, оставалась недвижимой. Правда, так продолжалось недолго. Душевные силы, домашний покой, лекарства быстро учителя подняли на ноги. И он довольно равнодушно, несмотря на упреждения, уговоры докторов, родных и близких, махнул на случившееся. Вскоре встречаю его у городской автостанции.

— Иван Иванович! Отлежаться бы надо, последить за собой.

От такого разговора поморщился вроде от набившей зубы оскомины, с ходу перевел его в обычное русло встречными вопросами: чем голова занята? куда направляешься? Впрочем, действительно, внешне, по лицу следов хвори у Ткаченко незаметно. Бледность только перенесенной болезни скрывал навсегда въевшийся в каленую ветрами морщию кожу стойкий загар, привычный для сельского человека. Что гуще сеть морщин, так она у всякого слабого зрением в солнечную погоду, заставляющую сильнее жмуриться. В одной поре был учитель, каким его помню, — по-военному подтянут, весело разговорчив и скор на ногу.

Собираясь ехать в Москву, убеждал жену, по-видимому, и себя:

— Друзья помогут — как следует проверюся, посоветуюсь с учеными-врачами.

Пора уже и за себя взяться.

Но когда там, в столице, стало совсем невмочь, он и не попытался хлопотать о лечении.

Домой! Домой! — Как застучало, как будто душа почувала: отмеренного судьбой на твою долю осталась малая толика.

Писано рукой Ткаченко на тетрадном листке:

«Есть мнение, будто в последний миг перед человеком пролетает вся его жизнь. Сомнительно. Но вот когда выкроится некоторое количество времени — есть возможность и необходимость чуть ли не все вспомнить и оценить».

В ту ночь, когда он, вконец загнанный обычной вокзальной маетой, уже покойно лежал на жесткой вагонной полке, конечно, явилась учителю «возможность чуть ли не все вспомнить».

Одни и те же факты личной жизни в разное время неодинаково видятся человеку в памяти: казавшееся мелочью вдруг озаряется сполохом, становится едва ли не самым главным, а то, что занимало необыкновенно, отодвигается-отодвигается вдаль, угасая в твоём сознании.

Подчеркиваю — речь о фактах личной жизни.

А как домысливать, додумывать за другую, пусть и близкую тебе душу?

Если, действительно, как он говорил по телефону из слободской больнички, лишь одна простуда ломила тело, то учитель прогонял сквозь строй дум, скорее всего, военные дни. Именно они, отдаляемые годами, все туже и туже, по-живому натягивали незримые жилы памяти, с непомерной силой понуждая возвращаться и возвращаться к ним.

«Принимал участие в боях против немецко-фашистских захватчиков на дальних подступах к Москве, в освобождении от гитлеровцев Калинина, Ржева и других операциях. Дважды ранен».

В скуповатые строки послужной автобиографии, написанной Ткаченко вскоре после войны, так куце уложились события тех лет. Ему тогда, двадцати семи лет от роду, вполне удивиться, услышав такое. Чего тут расписывать, выхваляться — все воевали, не один он. Главное виделось впереди. Стал студентом, пусть и заочником, самого главного университета страны. Открывались страницы любимой науки, которую наш отечественный летописец Николай Михайлович Карамзин оделил такими почестями: «История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего».

Она-то, История, вначале увела в глубь веков, а затем вдруг осенила, надолго высветив для Учителя главное дело всей жизни — воссоздание летописи Великой Священной войны, в которой и сам пролил кровь. В краеведческом розыске Ткаченко был больше захвачен то боевыми событиями на Дону, то прослеживал фронтовые дороги земляков. К самому себе черед не доходил. И когда в канун двадцатипятилетия разгрома гитлеровских орд под Москвой получил немало удивившее его приглашение (свычнее было самому их рассылать) от красных следопытов одной из столичных школ — № 727, напомнившее, что и он, Ткаченко, ветеран, — учитель взялся за архивные бумаги. Тот порыв вылился в газетную статью, напечатанную районкой.

«С необычайным волнением пересматриваю пожелтевшие архивные листы — списки нашей команды, отправленной в октябре 1940 года из Росоши в Сибирь. Читаю фамилии, и всплывают передо мной лица молодых ребят — призывников 1920 и 1921 годов рождения, кто составил тогда костяк двух стрелковых полков одной из сибирских дивизий.

Немногим больше полугодом продолжалась наша мирная солдатская служба — «все ученья да ранний подъем». В одном взводе медлительный увалень Анатолий Рыбас и прямая противоположность ему — вспыльчивый, что спичка, худющий, как не переломится в перетянутом ремнем поясе, с удивительно острым носом Алексей Лавренов (как мучил Лешин нос кусающий мороз). И еще один росошанец — пожалуй, самый усердный из нас — Анатолий Кулешов, кому так не терпелось занять командирскую окантовку на форме, кубарь на петлицы.

И тут — война.

Уже в начале июля наша дивизия оказалась в составе резервного фронта — километрах в трехстах впереди Москвы, сейчас же за Днепром, — готовили основную линию обороны на дальних подступах к столице. Нас, бывших курсантов учебного взвода, занимавшихся по курсу офицерской подготовки, назначили младшими командирами и замполитруками в разные подразделения; я очутился в штате дивизионной редакции — в некотором роде фронтовым летописцем у своих однополчан и земляков.

Еще задолго до подхода основных сил противника первая рота — как раз та, в которую прежде входил наш учебный взвод, — выдвинулась далеко на запад к Смоленску — «для непосредственного ознакомления с врагом». Где-то в ржаном поле — неожиданно для себя, впрочем, и для немцев — напоролась на отряд гитлеровцев. В скоротечном бою отличились пулеметчик Косачев и заместитель политрука Семенов. Было убито двадцать пять фрицев при убитом и раненом с нашей стороны.

Мчусь в родную роту: введь у Косачева, старослужащего, я еще в Сибири был вторым номером расчета, а Семенов — однокашник по школьной парте. Но с другом детства свидеться не пришлось — его, раненого, прямо с поля боя отправили в госпиталь; Косачев, не веря сам себе, как он остался в живых, запаленно рассказывал:

— Даже лечь не успел за пулемет, сидя, кричу Усольцеву: «Ленту! Ленту...» Оглянулся, хотел ругнуться, чего он возится, как кот в мешке, — убит товарищ. Тогда я и полосонул в упор — так, гляди, сидя и бил.

На рассвете второго октября младший сержант Василий Пархоменко, калитвянский парень, находясь со своим отделением в дозоре, скоординировал «Огонь!» — палили в появившихся на дороге вражеских мотоциклистов. mogli знать необстрелянный хлопец, что вязался в бой с авангардом фашистской армии, начавшей в тот день по приказу Гитлера генеральное наступление на Москву.

Четверо суток непрерывно следовала атака за атакой — пехота и танки на земле, с воздуха долбит авиация. Но сбить наших малоопытных бойцов, почти безоружных в сравнении с гитлеровцами, не удалось. За эти бои дивизия в числе первых была поименована гвардейской.

Были и у нас потери, очень великие. И пока цепко держались на своих оборонительных рубежах, и после — когда взяли в кольцо немцы, пробивались из окружения через Ржев, Старицу к Калинин. И потом — когда гнали гитлеровцев почти теми же дорогами: Калинин-Старица-Ржев...

Там, в полях и болотах, навеки остались мои друзья. Остались победителями. Слышите меня, отцы-матери, кто провожал нас осенним днем на железнодорожном вокзальном перроне на солдатскую службу? Нас уехало тогда 49 из Калитвы, 34 из Россоши, 63 из Ровеньков, 30 из Ольховатки — до двух тысяч человек из области. Слышите, встречающие нынешний день, однополчане? Мы должны рассказать о павших верных товарищах, о нашем поколении.

В память о встрече-выступлении перед московскими школьниками остались не только эти газетные записи, но и подарок ребят в библиотеку учителя — сборник воспоминаний «Битва за Москву».

Не однажды и я расспросами вызывал учителя на рассказы о войне. Припоминал Ткаченко свою мальчишечью наивность в первые фронтовые дни, она проглядывает и в вышеприведенных заметках. Отрезвление от «романтики боя» прошло быстро — хочешь, не хочешь, а привыкай к гибели рядом идущего товарища, к бомбежкам, к запаху горелого железа и дерева. Испытал тяготы отступления. «Когда в наступление пошли, веришь, боялись вперед далеко зарываться, чтобы не отсекали фрицы. Так вьелся в шкуру страх окружения». Довелось по минным полям поползать, Смоленщину минировали щедро — многослойно, то при отступлениях, то при обороне. Хлебнул всего на войне по горло. Осенью сорок третьего в атаке под Духовщиной пулеметной очередью, как кнутом, стегнуло по лицу. Ранение оказалось не в пример первой контузии тяжелым, лишился навсегда глаза. Ткаченко демобилизовали из армии.

Уже позже он узнает, что именно за отвагу в тех жестоких боях гвардейская стрелковая дивизия была поименована приказом Главкомандующего — Духовщинской.

О своем фронтовом житье-бытье говорил учитель отрывочно, как бы между прочим, с шутливой улыбкой: в боях открывал «смоленские ворота». обстоятельная беседа с точной записью событий, дат, фамилий откладывалась все на после, на потом. По молодости лет беспечно и я не проявил настойчивой цепкости газетчика. Как-то и не думалось, что больше не представится возможность поговорить с учителем.

Случилось.

Больше не поговорим.

Теперь, перелистывая старые блокноты, нашел-таки некоторые записи из рассказанного Иваном Ивановичем.

На перекладных добирались с ним однажды из Россоси в Воронеж, пересаживаясь с электрички в электричку. Закатное солнце не только высвечивало за окном то неезжалый проселок, сплошь улитый лужами, то огненную лесопосадку вдоль железнодорожной насыпи, то с сочной зеленью озимое поле — тепла луча доставало и нам. Ощущение движения в пору распутицы, цену которому ныне знает лишь сельский житель из бездорожной глубинки, остатнее октябрьское солнечное тепло в вагоне, который имеем буквально на двоих, было малолюдно отчего-то, — все располагало к душевному покою. А меня тянуло к шутливому разбою.

Атаковал учителя его же оружием — не выказывая ничего на лице, постарался равнодушнее подsunуть ему на читку свою очередную свеженаписанную бль о потомках Кобзаря, живших в воронежском крае.

Очерк я вез в редакцию газеты.

Прочитав заголовок, Ткаченко уточнил:

— Перепечатка из журнала?

— Нет, статья на местном материале, все достоверно.

Иван Иванович снова уже недоверчиво взглянул на меня сквозь стекло очков (что тоже понятно — можно сказать, главный краевед, особо занимающийся родословными, и вот тебе на — не ведает о родичах самого Тараса Шевченко).

— Разыгрываешь? Ты брось...

Ткаченко имел особый редкостный дар сорадоваться успеху товарища. Радовался твоей удаче нередко больше, чем ты сам.

Прочитанное расположило учителя к воспоминаниям на литературные темы.

— Из окружения выбирались. В грязи по уши, а болота не кляли, только они нас спасали. Ночами примораживало, все легче идти. Чувствуем — оторвались от немцев, так оно и оказалось впоследствии. Но на тот момент еще точно не знали: у своих ли. Когда выбились из сил шагать и шагать, свалились под утро, что убитые, на каких-то давних могилках.

Как промерз, кинулся ото сна, гляжу — светает, да еще снежок падает, высветляет округ. Осмотрелся, не вставая, где находимся — при запущенной церкви парк, по высоким липам видно, что старинный, да и намогильные памятники мраморные, в узорчатых оградках чугунного литья.

Бездумно — какие там думы в очерствелой душе, побитых товарищей оставляли незарытыми в могилу, не ровен час и тебе уготована схожая участь — так вот, бездумно смахнул шинельным рукавом нападавший за утро снежок с камня, у которого прикорнул. Гляжу на буквы — Керн. Начинаю соображать: Торжок где-то в этих краях, к нему держали путь, точно — пушкинская Керн. Открытие это просто ошеломило: спасаюсь под сенью Анны Петровны Керн. Той самой —

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Знаешь, что тогда обрадованным подняло на ноги? Могу удивляться, стихи помню — живу ведь.

Тем незабывна мне фронтовая встреча с Пушкиным...

Не помню, что я тогда отвечал учителю. Наверное, помолчали. В ту поездку Ткаченко разговорился о себе, что случалось довольно редко.

— Ночами что-то плохо сплю, чего только не переверочашешь в голове. Задался целью восстановить, что из прочитанного на фронте поразило больше всего.

— Однозначно ведь трудно сказать, — попытался рассудить я. — Песни, стихи брали за душу, и будут брать, пока она не очерствеет, как вы говорите, правда, у вас она черствела от горя, сейчас у иных чаще — с жиру. Пока берет, только вспомнишь:

Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началась война...

— Верно. Да ты послушай. Первая военная весна еще не начиналась, но уже к ней дело шло. Показали себе и миру, что можем немца бить. Понятно было и другое: потребуются нам до «праздника на нашей улице» нечеловеческие усилия — и дождешься ли ты его, выстоишь в этой кровавой бойне. Объяснимо: после ранения на такие тяжкие раздумья наводила весна — девятнадцать лет ведь, а насмотрелся уже такого, что вовек не видеть. Ребята постарше пугали такое настроение одним: не дури, беду на себя накличешь.

Обстановку на Калининском фронте яснее, зримее помогают представить свидетельства тех, кто был, воевал там.

С.С. Пшеничный, комиссар 119-й стрелковой, переименованной затем в 17-ю гвардейскую, дивизии: за день «противник предпринял одиннадцать атак. Под черными знаменами в парадном строю плотными рядами шли пьяные фашисты. Дробный сухой бой барабанов».

Рядовая участница сражений на Ржевском направлении: «Там такие бои шли, вся матушка-Волга была в крови».

Маршал А.И. Еременко вспоминал, что в январе 1942 года на Калининском фронте «к началу наступления отдельные дивизии, например — 360-я, не имели ни одной суточной дачи продовольствия. Пришлось искать выход из положения, отбирая у одной части небольшие запасы и передавая их другой, не имевшей ничего. Так были отобраны сухари у 358-й стрелковой дивизии и переданы 360-й, чтобы накормить людей хотя бы к вечеру первого дня наступления». Голодным, по пояс в снегу приходилось бойцу идти на откормленного и обогретого фашиста, оснащенного самым современным к тому дню оружием. Причем не просто идти — чтобы дать разворот танкам, артиллерии, требовалось проложить фронтовые дороги по болотистой местности, где только на один километр пути приходилось пилить, разделять, подтаскивать и укладывать в лежневку до тысячи деревьев.

Когда Еременко после Сталинграда уже к весне 1943 года возвращается на Калининский фронт, где шли бои местного значения, то отмечает, что изменений мало в снабжении провиантом, неважны дороги.

Ходивший этими путями Александр Трифонович Твардовский писал: «Ботинки, обмотки, полы кургузых шинелей, подоткнутые под ремень, заляпанные серым, подзолистым киселем, и говор грязи под ногами. Кажется, что по такой грязи можно идти только в завершение большого, исполненного с отрадой труда, в чайник законного, обязательного отдыха, обогрева, просушки и иных великих радостей. Но люди идут по этой дороге туда, где им будет еще труднее, где даже выпрямиться в рост негде будет, и та же грязь, натолканная в траншеях, а холода еще больше, и сверх всего, в придачу ко всему — мука того тоскливого ожидания, от которого в первые дни на передовой однообразно вытягиваются и сереют лица у солдат».

Пронзительное — «Я убит подо Ржевом, / В безымянном болоте...» — родилось с таким адресом не случайно.

Тяжко давался путь к победе.

— Под слезливые мысли читаю в «Правде» или другой газете, — припомнил Ткаченко, — нет, все-таки в «Правде», стихи Анны Ахматовой. Название обычное — «Мужество», даже примелькавшееся в газетных заголовках той поры. А слова-то, слова — чувствую — как врублены в камень.

Ты-то эти стихи так не запомнил. Слушай. Боюсь, чтоб голос не сорвался.

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Голос учителя выдержал, не сорвался.

Иван Иванович тер платочком лицо, пустую глазницу.

— Стихи легли на душу. Точь-в-точь, как у Глеба Успенского, — выпрямили...

12

Камень о распутье трех дорог: направо-налево пойдешь — не ведаю, что найдешь, а прямо — так уж точно в князи выбьешься.

Она из жизни взята, эта кажущаяся сказочной придумка. Каждый из нас в свой час встает у распутья.

Отвоевал ратник, из госпиталя с тощим вещмешком явился к родному пепелищу. Хоть и нагледелся вдосталь на пожженные селения, а тут вроде каленое огнем сердце, да дрогнуло — родимые потери, они и есть родные.

— Будем жить, — только и сказал матери, припавшей к шинели, не верящей, что этот военный и есть ее единственная кровинка.

Живой, да ведь инвалидность, слабое зрение уже сужали выбор дорог. Хотелось, конечно, учиться. Среднюю школу закончил с аттестатом отличника, к тому же фронтовик — открывай двери любого учебного заведения, куда, разумеется, позволяет, вернее, дозволяет теперешнее состояние здоровья. Да ведь на стипендию не продержаться, а врач при выписке настоятельно наказывал последить за питанием. Да и как сказать матери: одна растила, ставила его на ноги, с фронта дождалась, а кормилец норовит за порог.

Решилось само собой: учиться заочно.

Тянула к себе журналистика. Еще до школы газета была ему вместо азбуки (буквари-учебники выдавали в пользование лишь ученикам). По заголовочным буквам выучился читать, а затем и писать: остроганной деревянной лопаточкой макал в чернильный отвар из подсолнечной шелухи и всякой всячины, старательно перемалевывал объявление из «Известий» — «Приезжайте на Сорочинскую ярмарку». Не знал, что книга писателя Гоголя вскоре, действительно, поведет его на диковинную ярмарку. В пионерах стал юным корреспондентом областной газеты «Будь готов!» (выходила такая в Воронеже в довоенные годы). Перед призывом в армию на бюро райкома комсомола Ткаченко вручили удостоверение внештатного корреспондента уже «Молодого коммунара». Не отвратила от журналистики и штатная должность в редакции красноармейской дивизионной газеты.

В районных учреждениях фронтовику ответили одинаково: требуются школе учителя.

Оставалось идти в школу. С детских лет пристрастился к литературе, истории — на конкурсах «Пионерской правды» дипломами отмечали. «Читай книги, посещай музеи, работай в кружках. Изучай прошлое и настоящее любимой нашей Родины!» — прозорливо советовал тогдашний редактор газеты А. Строев.

В школе же новоиспеченному учителю выбора предметов не было, учебный год ведь шел, будто в насмешку оставалась свободной ставка преподавателя немецкого языка, тем более — языковую практику прошел огненную.

Что ни делается на белом свете, все к лучшему — ходячее, но не всегда верное присловье ложится к этому случаю. Ребятишкам, скорее всего, было даже лучше, что на урок немецкого в класс явился фронтовик. Ломал Ткаченко и самого себя, и детишек, только перенесших, еще переживающих горе нашествия, убеждал, что немец и фашист — это не одно и то же, что — сгинут фашисты, а язык народный выживет.

«В класс зашел молодой учитель, — вспоминает тогдашний восьмиклассник Павел Вислогузов, — Среднего роста, худощавый, с несколькими глубокими шрамами на лице — следами от осколков. Он часто прикладывал туго свернутый платок к глазу. Как оказалось, у него был протез, постоянно причинявший боль. Говорить, видимо, после конгузии было трудно, будто какой-то лишний предмет находился во рту и создавал помехи в речи.

Но мы прекрасно понимали его, когда он объяснял материал. Учитель старался фразы произносить ясно, растягивая слова и придавая им какое-то особое звучание, вызывающее у нас повышенное и неподдельное внимание. Шестьдесят лет тому, но я и сейчас отчетливо вижу завороженные лица соклассников и явственно чувствую, как мы все его любили».

Так, с 15 ноября 1943 года и определилась, как оказалось, главная дорога на всю дальнейшую жизнь. А выбор пути-то был, как оказалось, наследственным. Уже в шестидесятые годы в архивных раскопках учитель на странице старинного справочника вычитал, что еще в конце прошлого века на хуторе Стеценково попросили односельчане крестьянина Константина Ткаченко, выучившегося грамоте у дьякона и по мужикам, открыть у себя на дому школу. Учение начиналось с 14 ноября и заканчивалось 25 марта, срок назначался трудовым крестьянским календарем. Плату положили такую: один рубль или мешок жита с ученика. Чтение и письмо постигали в мужицкой школе.

Хуторянином, учителем-самоучкой заинтересовался Ткаченко, поскольку знал, что с отцовской стороны корни рода есть и в Стеценково. Предчувствие любопытного открытия в собственной родословной не подвело, должность учителя незримо перешла от — пусть родного не в первом колене, но — деда.

Впрочем, если теперь оглядеть путь-дорогу, пройденную Ткаченко, то ее, конечно, не назовешь чисто учительской. Хотя как представлять эту высокую должность. Писатель Василь Быков одному из героев повести «Обелиск» вложил в уста такую мысль: «Я так думаю, в том, что мы сейчас есть как нация и граждане, главная заслуга сельских учителей». Оказывается, об этом еще раньше говорил Верховный Главнокомандующий Сталин: «Воюну выиграли сельские учителя».

В приложении к жизни Ткаченко сказанные слова тоже не покажутся надуманно выспренними.

Дон теперь почти у каменных стен многоэтажных домов-ульев Воронежа. Переезжаем автобусом уже широковатую, по меркам степного жителя, реку по прочному железобетонному мосту. Текучая далеко внизу под настильной дорогой вода — то прямо, то излучкой убегающая меж крутых берегов в раздольную

степе, туда, где Калитва, — повязала начало разговору о Ткаченко. Мой дорожный собеседник — журналист Александр Александрович Козьмин, давний друг учителя.

— С Иваном Ивановичем повстречались в середине пятидесятых, в первый же год моей работы разездным корреспондентом. Мимоходом познакомились в правлении колхоза, но сразу же он запомнился мне. А обстоятельнее сблизились чуть позже: по весеннему разливу приплыл в Калитву на катере, тут, прямо у берега, увидел Ткаченко.

Сроднил нас возраст, почти ровесники. На фронте соседствовали, оба в редакциях дивизионок. Схоже потеряли в детстве отцов: по злому навету недобрых людей.

Что выделяло Ивана Ивановича среди сельских жителей? Интеллектуальность. Внешне, в кругу людей на деревенской улице он свой, можно принять его за учетчика, бригадира. Круглый год лицо, руки обожжены на солнце, закалены ветрами. Одевался как-то невпопад: жарко — он в плаще, холодновато — в защитной лишь цветом гимнастерке. Полевая сумка офицера всегда в руке, говорил ему, шутя: с ней и спишь. Сумка как паролем была. Когда являлся в редакцию, не заставлял меня в кабинете, то клал ее на стол — и я терпеливо дожидаясь возвращения Ивана Ивановича, зная, что у меня гость.

Разговоришься с ним — собеседник он редкостный, по знаниям, по культуре жизненного поведения видишь в нем настоящего интеллигента. У меня все же общение с читающим народом: тот одно выкопал — перескажет, тот иное. За счет окружения, даже не захочешь, пополняется багаж познаний. Является Иван Иванович, всегда всем нам открывает новое: незамеченное досель имя писателя, упущенную в потоке информации книгу, журнальную или газетную публикацию, просто удивительную житейскую быль. Читал ведь страшно много, нагрузка на один глаз невероятная.

Богатство скопленным под спудом не держал, всегда делился. Езжу сейчас окрестными хуторами — везде его знают люди.

Да, еще когда сошлись с ним, захожу — вместо прежней хаты уже фундамент нового дома, по углам едва проявившихся стен опустошенные бутылки. На оклик выходит и сам из сарайчика. Смеюсь:

— Никак запил.

— Сдался. Без этого зелья, — отвечает, — сейчас и кирпича не положишь.

Конечно, пользовались его непрактичностью, хозяйской неприспособленностью.

Труд его не стал учеными трудами. Обидно. Но так, видимо, у этих людей — света другим, сгораю — и получается. Весь в поисковых хлопотах, а на печатное обобщение добытого, достигнутого времени не оставалось.

Когда некролог-извещение взялся писать, узнаю: Ткаченко не в заслуженных учителях. О почетном звании говорю. Без того горько, а тут и себе в укор ставлю — таких людей по заслугам не отмечаем.

Любимой ученицей у Ивана Ивановича была и оставалась всю жизнь Рая Каменева-Козаева. Ей Ткаченко первой доверил возглавить школьный историко-краеведческий кружок. Райса Ивановна окончила филологический факультет Воронежского университета. Как и ее учитель — где родилась, там и сгосилась. Осталась в родном селе. Работала в районной газете. Учила «взрослых» детей в вечерней школе. Была вожаком сельской молодежной комсомолки. Долгое время работала секретарем партийного комитета колхоза.

— На районной партконференции меня избирают членом бюро райкома партии. И мама, и муж отнеслись к этому равнодушно. А я сама растерялась: новые обязанности, большая ответственность — справлюсь ли?

Иду на работу поутру. На улице встречаемся с Иваном Ивановичем. Счастьем лицо светится, улыбается: «Рая, как я рад за тебя! Ты первый человек из Новой Калитвы в бюро Россошанского райкома партии. Понимаешь, сколько доброго ты теперь сможешь сделать для нашего села, для людей!»

Так ведь и было. Проложили асфальт. Строили детский садик, новую школу, жилье. Новую улицу назвали именем 62-й гвардейской дивизии, освободившей Новую Калитву от немецко-фашистских захватчиков. Памяти героев установили мемориал на Мироновой горе.

И тут же я увидела инога Ивана Ивановича. Никогда он не был сентиментальным, и вдруг сказал: «Дай я тебя расцелую»...

6 декабря 1981 года мне навсегда врезалось в память. Вечером узнала, что мой учитель в больнице. На дворе дождь со снегом, промозглый ветер. Думаю, завтра схожу к нему. И вдруг вроде кто-то подтолкнул. Быстро собралась и пошла. В дороге замерзла. Но в больничной палате было тепло. Иван Иванович обрадовался, хоть и явилась я незванным гостем. Говорил о прерванной поездке в Москву. Затем вспоминал, как из молодого бойца стал учителем. Прервал неожиданно беседу, мне шепнул: «Послушаем». Из динамика в коридоре звучала песня. Иван Иванович любил классическую музыку, оперу. Бывал в Большом театре в Москве. Сейчас же звучала народная песня. Когда отзвучали завершающие аккорды, учитель сказал: «Не знаю ничего лучше украинской народной песни». Неожиданно предложил: «Доживем до весны, поедем, Рая, на Украину. Я уже вычислил села, из каких наши предки пришли на Дон. Среди однофамильцев обязательно родню встретим». Мысль нам так понравилась, что обсуждали бы ее до утра, да медсестра пришла со шприцами.

А ночью Ткаченко умер. Убитой горем — только говорила с дорогим мне человеком, а его нет, душа не принимала потери — мне пришлось заниматься похоронами. В кинотеатр «Дон» проститься с учителем шли не только односельчане, бывшие и нынешние ученики. Ехали люди из окрестных сел, из Россоши, Воронежа...

Спустя десятилетие в горбачевско-ельцинский путч мой кабинет парторга опечатали. Но без работы я не осталась. Директор школы Иван Васильевич Донцов сразу позвонил мне домой: «Вы нам столько добра сделали. Есть часы русской литературы. А там еще что-то появится».

Через двадцать пять лет я вновь пришла в школу. Над ее центральным входом была установлена мемориальная доска, посвященная моему любимому учителю Ткаченко...

Вскоре здесь Раиса Ивановна Козаева вместе со своими питомцами торжественно открыли новый краеведческий зал. В дополнение к выставке о боевой операции Великой Отечественной войны «Малый Сатурн» появилась уникальная экспозиция, по сути, второй музей. Он посвящен крестьянской старине с той поры, когда в начале восемнадцатого века на красивом речном берегу родилась слобода в тогдашнем Острогжском украинском казачьем слободском полку.

— Обратились к землякам по радио, — говорит Раиса Ивановна. — Ребята из краеведческого кружка Ксюша Белогорцева, Аня Резникова, Лена Лукина, Настя Ткаченко, Вика Скибина, Костя Скибин, Алеша Шевченко и их друзья добворно обошли односельчан. Люди откликнулись и поделились дорогими семейными реликвиями.

Теперь школьники-экскурсоводы рассказывают первым посетителям-гостям

о том, как лет триста с лишним назад заселились южные окраины России украинцами — выходцами из тогдашней Малороссии — и великороссами из северных областей.

Вот пахотное «орало» и конный плужок, деревянные грабли и цеп для обмола-та зерна из колосьев, конная сбруя и колокольчик под дугой. А рядом вышитые сорочки и кожухи, свитки, рушники-полотенца и скатерти... Можно наглядно представить «делание» ткани. Коноплю, которая нынче попала в наркотическую немилость, вымачивали, мяли. Волокна чесали, пряли в нити. Из них ткали холсты. Тут же домашняя утварь, ручная мельница.

Эти вещи — от детской колыски-люльки, глиняной миски, деревянной ложки до гребней, веретен и ткацкого станка-верстата, иных изделий — окружали человека от младенчества до глубокой старости. Кстати, спасли они крестьянство в годы фронтовой военной порухи.

Музыкальные певучие цимбалы и балалайка подтверждают, что не хлебом еди-ным во все века жили люди.

Одна из посетительниц музея Любовь Лушпина пришла не с пустыми руками — принесла в дар прабабушкино полотенце редкой машинной работы. На каждом экспонате есть табличка, называющая мастера, хозяина, дарителя. В них живая пофамильная летопись села, теперь запечатленная и для потомков.

Учитель из плеяды хранителей памяти Иван Иванович Ткаченко, будь жив, порадовался бы за своих учеников.

15

Спустя время после кончины учителя позвонила из Калитвы его жена, Ната-лья Владимировна.

— Бумаги Ивана Ивановича неразобранными лежат, может, посмотрите?

«Бумагами» оказались исписанные спешным, как летящим почерком, тетрад-ные листы, сотни листов, стоймя вставленные в картонный короб, как в обойму. Вчитываюсь.

«Не могу представить иной технологии становления Личности, кроме как Самообразования. При содействии, помощи, мудром наставничестве старших, но только сам себя, своими силами развивай.

* * *

Дел столько, что и за сто жизней не переделать, а у меня — одна, да и той уже частица остается.

* * *

Какой бы маленькой ни была твоя история — она твоя.

* * *

Иду, люди, чтобы сказать вам, какими вы можете быть могущественными, прекрасными. (Серов?).

*А если есть уже реальнейшие способы осуществления мечты такой!
Не безупречное, а вдохновительное новое прочтение.*

*Что ты спишь, мужичок? —
Встань, проснись, осмотришь:
Кто ты был и что стал,
И что есть у тебя!*

* * *

Дошел до единственно ценной, непостыдной мысли — что все дело состоит в том, чтобы дело сделать. И оказывается — кое-что уже и делал как раз в этом направлении; достойным продолжением и счастьем было бы — помочь овладеть этой истиной, мудростью и другим.

* * *

Работать, работать, работать согласен без отдыха — с единственной наградой: обретением смысла!

* * *

И вперед идти!

А не взбивать в пену-трясину почву на месте.

* * *

Человек — это ж целый мир!

Но мир-то этот может быть умирающим и растущим, сложным и нейтронным, греющим и нет.

* * *

Вышли мы все из народа — и куда махнули?

Не лучше ли было бы придти к народу, наружно и внутренне, духовно и материально.

* * *

А ведь дураком никто бы не стал по собственной охоте; если их так много — так вина не в них, видимо.

* * *

История — это не наука о будущем: она для будущего. И поэтому не может быть лишь увязанием в прошлом ради прошлого.

* * *

Капля, может, и ничего не значит. Но мириады капель, собранные воедино, обретают океан, способный поднять на волнах своих все.

* * *

Музейное дело — оно от вдохновенных и вдохновляющих муз повелось...

* * *

Главное достоинство прозы — ее поэзия. И это отнюдь не каламбур, и должно быть отнесено не к прозе только, но и к науке, к работе.

* * *

Каждый человек хоть что-то ж должен внести в общечеловеческое дело: люди, может, и без него обойдутся, но он-то без них не сможет.

Но чтобы быть способным хоть на что-то, он себя-то должен к этому приготовить не кое-как — полнейшим, совершеннейшим образом.

И к делу именно своему.

* * *

Чудесно, если сохраняется самое достойное; еще лучше — если развивается.

* * *

Много дивных див на свете, но всех дивней — человек. Во все стороны — безмерное — и в чудесную, и в ужасную — как его воспитают; стереотипизация.

* * *

История — это, в конечном счете, судьба, как она сложилась. Но овладение ею, опытом — это и хоть чуть-чуть управлять судьбой своей.

Читаю, думаю.

И теперь понимаю: учитель ведь не шутил. Заехали к нему однажды полуднем, распеченным летним зноем. Беспokoились, как бы не потревожить Ивана Ивановича отдыхающего, человека в возрасте, а от жары даже в тени чадно. Вопреки нашим предположениям на стук в оконное стекло веранды сразу послышалось:

— Заходите, заходите. Гостями будете.

Одетый, как на выход в люди — в украинской рубашке с вышитым воротом, учитель встречал на пороге. Вдоль стен шкафы в ряд, плотно заселенные книгами. Знаменитое в ту пору издание — в двухстах томах «Библиотека всемирной литературы». Отдельно полки с военными, краеведческими книгами. Старинная литература в добротных переплетах и с золотым тиснением на корешках. На столе тоже стопы книг с закладками, газет, раскрытые журналы, исписанные размашистым почерком листы.

Запомнились сказанные тогда же учителем слова:

— Думаю, как жить человеку дальше. Голова уже от этих дум трещит, как не лопнет.

Он любил, что называется, отемяшить и удивить человека начальной фразой, особенно при первом знакомстве. Помню, представляю ему свою жену, узнает, что она учительница. «Не знаю, как вас наставляли в институте, но я в педагогике замышляю сделать перевод. Рычаг есть, точку опоры ищу. Ведь заедает школу схоластика».

Иван Иванович Ткаченко немало занимался проблемами народного образования. Он готовил доклады даже в Академию педагогических наук. С его мнением считались, многие его предложения были приняты и опубликованы.

«Уважаемый тов. Ткаченко И.И.!

Президиум АПН СССР благодарит Вас за участие в конкурсе АПН СССР 1973 года. Конкурсная комиссия рассмотрела представленные доклады и внесла решение о награждении лучших из них. В настоящее время в Академии готовится к публикации специальный сборник учительских докладов. В качестве приложения к сборнику будут указаны работы проблематика представленных докладов и фамилии всех участников конкурса.

Президиум АПН СССР».

«Уважаемый Ткаченко И.И.!

Президиум АПН СССР благодарит Вас за активное участие в конкурсе учительских докладов «Советский учитель». Ваши наблюдения, описанные в докладе, представляют для Академии педагогических наук интерес и будут способствовать совершенствованию исследований отдельных проблем обучения и воспитания школьников, а также помогут глубже обобщить передовой опыт, накопленный советской школой. Приглашаем Вас к дальнейшему сотрудничеству, желаем больших творческих успехов в выполнении постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР о дальнейшем совершенствовании системы народного образования.

*Президент Академии педагогических наук СССР В.Н. Столетов.
17.02.1978 года».*

«Глубокоуважаемый Иван Иванович!

Получил Ваше письмо и материалы. С основным Вашим тезисом, что одним из важнейших путей формирования каждого из нас как субъектов познания, труда и общения со всем присущим нам мировосприятием может явиться и является изучение не только, так сказать, макроистории, но и микроистории, согласен полностью.

И Ваш труд по приобщению ребят к изучению истории их семьи, их рода, их трудовой генеалогии одобряю от всего сердца. Постараюсь пригласить Вас на заседание совета «Психолого-педагогические проблемы коллектива и личности», которое будет, видимо, в Краснодаре в конце мая следующего года.

С самыми добрыми пожеланиями! Академик-секретарь отделения психологии и возрастной физиологии АПН СССР А.А. Бодалев. 24.11.1978 года».

...И вот — «как жить человеку дальше». Радость встречи как-то помешала принять эти слова началом серьезного разговора. Впрочем, многим из нас, дипломированным и образованным, нередко порой представляется, что думать о таких «материях» отводится ученой должностью соответствующего учреждения. И вдруг выбивает такое предположение то академик от земли, крестьянин Терентий Мальцев, то директор сельской школы Василий Сухомлинский, то писатель из станицы Михаил Шолохов.

Имена названы не для сопоставления. Называю, чтобы подчеркнуть явление одного ряда — явление творческой личности, заботами о воспитании которой в своих учениках, в самом себе — жил мой учитель.

От него я уезжал с подарком — с книжечкой избранных размышлений одного из мудрейших людей эпохи Возрождения Мишеля Монтеня. Открыв начальную страницу, прочел: «Это искренняя книга, читатель».

Свои сокровенные мысли ложились на лист из-под чернильного пера нашего Ивана Ивановича.

«Педагогика — это и поэзия, и философия, и искусство, и мудрость опыта, и прорыв в грядущее.

** * **

Не то важно — откуда есть-пошел род, а — куда идет и не теряет ли не подлежащего утере.

** * **

Были старики хранителями традиций и преданий — и значит в почете; сейчас накатил стремительный динамизм — и нет им места и назначения.

** * **

Люди у нас не бесталанные: всегда и всякую, порой, показуху обеспечивают безотказно, но вот беда — только в ней и видят свое призвание. На дело уж ни сил, ни времени — не остается.

** * **

Опутаны мы всякими предрассудками. Не для того ли и пьют люди, чтобы ослабить эти тормоза? Конечно — в идеале, но ослабитель-то вон какие коварные свойства имеет.

* * *

Доска Почета. Портрет.

С загрубелого лица сияет человеческое благородство. Но оно должно бы перейти к другим, зажечь новое поколение — и здесь одного портрета мало. Требуется исследование истоков, родословных.

Такое исследование, прежде всего, неминуемо сделать нам самим — и чтоб знать, чьих детишек учим, и чтоб обеспечить передачу трудовой эстафеты, а самое главное — осознать подлинные истоки героизма, трудолюбия.

* * *

Пусть исследуют историю в себе и себя в истории!

* * *

Иметь в виду, что могучий дуб не может приняться без собственной микрофлоры — так и знания без деятельности.

* * *

Это неминуемый, всем посильный и содержательнейший подход — может, даже на месте — по следам боевой и трудовой славы.

Согласитесь, противоестественно и безнравственно идти куда-то, искать нечто, не задумавшись о себе и своих.

* * *

Учитель меньше всего должен быть близок к бюрократической карусели исходящих и входящих. Живое дело с живыми душами — вот его дело.

* * *

Создание родословных уже и тем будет бесценно, если поможет воплощению элементарной истины: береги честь смолоду.

* * *

И все на ходу, не прикладывая рук, — языком лишь.

* * *

Не будем все математиками, химиками... (и одновременно, и по отдельности), а вот Человеком каждый быть обязан.

* * *

Хочу научить тебя к пятнадцати тому, что сам по крупицам собрал лишь к пятидесяти».

В «дневнике души» заметна колючесть в характере учителя. Очень обидительный, снисходительный вроде к человеческим порокам — с виду, внутренне он не терпел безобразий в любых проявлениях. Порой срывался и чистил в глаза лодыря или пьяницу, в каком бы ранге он ни числился. Мог и вежливо, но наотмашь осадить с трибуны. Когда сдерживался, сам характер его, помимо желания, вызывал неприязнь у бездарности. Выражаясь по-старинному: имел блестящие достоинства, следственно, и неприятности.

На высоком педагогическом совещании учителю «из глубинки» дали три минуты на выступление по серьезному вопросу. Поднялся, сказал:

— Отведенного регламентом мне времени хватает, чтобы выйти сюда и поприветствовать вас. Что я и делаю.

В то учреждение учителя больше не приглашали, пока не сменилось руководство.

Так что в житее само собой наживались не только друзья, но и недруги.

Как всегда, с зажигательными идеями (не скряжничал делиться) заходил, точнее — забегал, медленного движения он ни в чем не признавал, в редакцию районки. Тут во все времена для него дом родной. Знакомится с новым редактором, а он, то ли уже науськанный кем-то из недоброжелателей, то ли натура выказывала свое (время убедило, в журналистике оказался человеком проходящим, отдиломированным лишь) — предложения учителя выслушал, промычал что-то неопределенное.

Статью учителя положил на только закупленный на новоселье в кабинет журнальный столик.

Ткаченко через время наведалься сюда. Учтиво поговорил со скучающим чиновником. Заметил: его статья нетронута лежала там же — на овальном подносе.

Больше в тот кабинет он был не ходок. А газете не изменил: гостил у сотрудников, не отказывал в совете, реже, но писал статьи. Не взыграли личные обиды, понимал, что их надо обуздать, в общественных же интересах.

Сидел он смиренхонько на заседании бюро райкома партии, обсуждавшем проблемы преподавания истории в средних школах. Готовившие докладные бумаги исхитрились — спроси, зачем? — вставить фамилию Ткаченко в список тех, кому надлежало в корне перестраивать ведение предмета. Когда это обнаружилось, первый секретарь, сам заслуженный ветеран войны, криком обрушился на помощников.

— Опыт Ткаченко по стране не грех показать!

После досадливо упрекнул и учителя:

— Что же вы ко мне перед бюро не зашли.

Оба понимали: по всякому случаю не набегаешься и на всяк роток не накинешь платок.

Кому-то казалось, что непомерно преувеличивается вклад Ткаченко в создание школьного музея. В расчет, конечно, брались настенные полированные доски с броско приживленными надписями-фотографиями. Они на виду! А что до кипы папок, в каких сотни писем, начинающихся одинаково: «Дорогой Иван Иванович!» — составляющих документальное богатство музея...

Кому-то не пожелалось, чтобы Ткаченко участвовал во встрече — ставшие с его легкой руки традиционными — с ветеранами-освободителями Калитвы, — не известили учителя, вышедшего на пенсию.

Впрочем, на то и недоброжелатели — хуже, когда не понимал близкий вроде человек.

— Намечается в Воронеже памятный вечер Алексея Прасолова, спешу туда, — поделился Иван Иванович со знакомым из краеведов в вокзальной суетливой встрече.

— С чего это вдруг заинтересовался поэзией?

— Мой же ученик, — поторопился ответить учитель.

— Грешен и ты, примазываешься к чужой славе. — Сказано было вроде с улыбкой, с шутливой подначкой. А в душе враз стало пусто. Прасолов, действительно, ученик, не по школьному классу. В год учительства он дружил с лучшей ученицей Ивана Ивановича — Верой Опенько, молодые учителя обращались часто за помощью к Ткаченко, работавшему тогда инспектором района. Сводила их судь-

ба в редакциях районных газет, приезжал Прасолов писать статью об учителе и нашел теплые слова.

Учитель не стал объясняться, не в его натуре.

Вижу: скрыв обиду незначащей фразой, привычно пальцем подтолкнул к глазам очки, распрощался и, сутуловато наклоняясь вперед в быстрой походке, зашагал к электричке...

К истокам неприметного на взгляд небрежения к человеку, больно ранящего его, учитель подведет меня в рассуждениях о равнодушии и невежестве, рушивших вековые своды.

Какой смотрелась Калитва еще моим отцу с матерью?

В белой гряде обдонских гор провалье: врата обрамляют меловые дивы-столбы, всегда серебриющиеся ясным днем и лунной ночью, а овражистая долина лучисто иссечена разбегающимися от берега к всполью улочками. Начало им у площади, где красовалась мощная краснокирпичная церковь. Сработанные мастерами три островерхих шатра взмываются в небесную высь меж изваянными природой белыми стражами.

Венчала селение еще одна церквушка. Стояла игрушечкой на донском взгорье. В сооружении храма участвовало высокое духовное лицо — уроженец слободы, архиепископ Холмский и Варшавский, а затем митрополит Московский — Леонтий, в миру Иван Алексеевич Лебединский.

В конце тридцатых годов недобрая рука замахнулась на красу человеческого труда и духа. С добротной кирпичной кладкой не справились ни лом, ни кувалда. Сработала та же мужицкая смекалистость: подкопали с одной стороны фундамент, подпирая его дубовыми пнями, а затем подожгли их — и шатры рухнули.

«Не сами собой рушатся вековые своды. Их губят равнодушие и невежество», с коими всю жизнь сражался Иван Иванович Ткаченко.

Ткаченко учил детей. Вел краеведческий поиск. Одновременно Иван Иванович работал над книгами об истории родного края, о смысле учительского труда. Начато было немало иных важных дел. Не успел довершить их. На то оказалось мало одной его жизни. Сам, как и воскрешенные им герои, схоже сгорел на ветру...

17

Не всегда доставало душевных сил и учителю, тогда выговаривалось на лист письма — «кому ж повем печаль мою... Не так уж много у меня тех, с кем поделиться той грустной радостью — чем я жив».

В последнюю нашу встречу жалился и я моему учителю на свалившиеся невзгоды. Утешил Иван Иванович одним: на то она и жизнь, чтобы иметь в ней и печали, и радости.

Говорили и нянчили мою трехмесячную Таню. Расставались с ним у порога квартиры, еще не закрыл я дверь, как Иван Иванович вернулся с нижней лестничной площадки, чтобы наказать:

— Расти дочку. И запомни: это у тебя сейчас главное.

Кто знал, что руки жали, расставаясь навсегда, что его наказ был последним.

Правда, еще из сельской больницы по телефону допытывался, перебив распросы о здоровье:

— Прошли обиды? Жизнь, она, друг милый, сама расставит все на свои места...

Все служебные «автобиографии» начинаются схоже. Ткаченко о себе писал: «Родился я в селе Новая Калитва Воронежской области 5 июня...» То был июнь 1922 года. И здешний административно-территориальный адрес звучал иначе — волостная слобода Новая Калитва Острогожского уезда Воронежской губернии.

«Родился в семье крестьян-середняков». Заметим: крестьян государственных, помещичьей донская слобода никогда не была. Это немаловажное обстоятельство определяло характер местного жителя. С одной стороны — член сельской общины, общинник, с другой — независим как единоличный владелец земельного пая. А еще — потомок вольного слобожанского казака не только крестьянствовал, но мог и занимался иными промыслами: переработкой, продажей сельскохозяйственной продукции. В сельском обществе замечались и выдвигались башковитые мужики «на должность». Таким оказался Ткаченко Иван, сын Степана. Он освоил торговое и учетное дело. Из магазина его взяли счетоводом на зерновую ссыпку — приречный элеватор, где принимали из сел и хуторов довольно обширной волости, а затем — учрежденного Новокалитвенского района хлеб на хранение, подработку и отгрузку в баржи с высокого мелового берега.

В тридцатые годы, видимо, как толкового специалиста, Ивана Степановича направили вести бухгалтерию в хлебоприемном пункте соседнего Верхнемамонского района. Не успел он перевезти сюда жену Пелагею Яковлевну с сынишкой Ваней. Случилась беда. Приняли в склад подсолнечник повышенной влажности. В ворохах семена слежались, согрелись и пропали. Насколько был лично причастен к порче подсолнечника бухгалтер — неизвестно. Но по строго исполнявшимся суровым законам того времени директора и его команду судили. Затем «Ткаченко Иван Степанович, 1895 года рождения, находясь в местах лишения свободы в Коми АССР, умер...»

Сын-школьник за отца не отвечал. Учился. «Среди сверстников выделялся обширностью знаний. Его принимали в доме самого уважаемого старейшего учителя Раевского. Сергей Александрович давал способному ученику книги из своей богатой библиотеки. А, молодая учительница, признаюсь, даже побаивалась старшеклассника Ткаченко за его неожиданные вопросы. И уважала — за его самостоятельные суждения. В этом классе было немало отличников, но Иван Иванович запомнился сразу. Из тезок-одноклассников его уже тогда называли по имени-отчеству», — рассказывала жительница улицы Максима Горького в Россоши, ветеран педагогического труда Надежда Ивановна Сердюкова. Свой путь учителя русского языка и литературы она начинала в 1939 году в средней школе районного центра Новая Калитва. А в сорок третьем «повзрослевшие на войну» вместе со своим недавним учеником, фронтовиком с тяжелым ранением Ткаченко возрождали школу. Они занимались с детьми, пережившими страшную фашистскую оккупацию, учили их в полуразрушенном, исколеченном, иссеченном бомбовыми, снарядами и минными осколками кирпичном доме.

Надежда Ивановна говорит, что война роднила людей. Срабатывало народное присловье: «Слезами горю не поможешь». Делились хлебной горбушкой, одежкой. Женщины и дети, старики вместе поднимали село из руин. С восстановленной клубной сцены запели. Ставили спектакли. «Отлично исполнял роль ведущего наш Иван Иванович. За это его даже награждали Почетной грамотой райкома партии и райисполкома. Грамоты печатались в местной типографии на листах из школьной тетради».

В клубной художественной самодеятельности находчивый конференсье-затейник заметил славную певунью Наташу. Была она родом из соседней Старой Калитвы. До войны успела поработать на Кавказе. Растила там каучуковые роци, смола деревьев требовалась на выпуск резиновой колесной обуви для машин. Встретился ей душа-парень из Полтавы. Полюбились-расписались. Жимайлова стала Наталкой-полтавкой Гайдай. Да семейное счастье оказалось коротким. Дмитрий успел лишь подержать на руках первенца Юру и ушел на фронт. Уже после радостного Дня Победы, в мае 1945-го, Наталья получила похоронку на мужа — смертью храбрых погиб в Германии. В этот горький для молодой вдовы час руку и сердце ей предложил учитель. С сынишкой привел Наташу в отчую хатку. Мама Пелагея Яковлевна сказала: «Будут наши». И обняла невестку с внучком.

Будет как в сказке: жили они долго и счастливо. Наталья Владимировна оказалась прекрасной хранительницей семейного очага. Всегда на столе вкусны калачи из печи. Мастерница-рукодельница. Алые розы, полевые маки, синие васильки расцветают на вышивках. Петухи голосисто кукарекают с рушника. В доме покой — светло, тепло и уютно.

Молодые не чурались частых тогда вечеринок. Иван Иванович спиртного в рот не брал, зато песни в застолье послушать любил. Тем более что самый чистый голос у его Наташи.

Общих деток не прижили. Зато Юра стал родным, как позже и внучата — Сашко и Леночка. В ближние и дальние поездки по делам краеведческим дедушка часто брал с собой Александра.

Юрий Дмитриевич хранит сквозь десятилетия светлую память об отчине: *«В классе был строг. За невыученные уроки двойки ставил. А вот когда я без спроса раскрутил-разобрал недешевый в ту пору ламповый радиоприемник «Родина-52», из его деталей сделал примитивный детекторный приемник и он у меня заговорил, то мама чуть не отилепала меня. А отец даже не ворчал. Мне казалось, не только с интересом, с удивлением вслушивался в голос динамика. Он поддерживал мой интерес к радиоделу, к электрике. Первые полупроводники мне из Москвы привез. Я сделал карманный транзисторный приемник и хвастался им. А Иван Иванович радовался больше меня, гордился мной.*

Ездили с отцом в украинский город Николаев. Что меня тогда поразило: везде Ивана Ивановича знают! Почти на каждой большой железнодорожной станции к нашему вагону подходили люди. Кто с благодарностью, кто с вопросами о розыске родных и близких. Всем он давал нужные советы и обещал помочь.

Служу уже в армии. Электромеханик. Вызывают в штаб части. Зачитывают удивившую всех телеграмму: «Гайдай приглашается в Москву на встречу со Знаменем Победы».

На столичном вокзале встречаюсь с отцом и школьниками из моего класса, в каком я был пионервожатым от старшеклассников. Соскучились, рады друг другу.

На метро быстро добрались к Красной площади. В Историческом музее нас провели в зал Победы. В центре под стеклянным колаком стояло знакомое по фотоснимкам Знамя, водруженное над рейхстагом. Рядом в наклоне — пионерское знамя, врученное воинам в саратовском городке при формировании 350-й стрелковой дивизии. Надпись — «Актарск — Берлин — Актарск». Знамя нашей дивизии, освобождавшей и Калитву. В ней служил наш, найденный нами герой Вася Прокатов. Отец хотел что-то важное сказать, не смог — слезы перехватили горло.

Такого с ним не бывало.

У меня два отца, оба мне родные...

Дмитрий Филиппович оставил мне в наследство фамилию, отчество. А Иван Иванович нашел мне награду Гайдая. В семидесятые брежневские годы мама смотрела по телевизору документальный многосерийный фильм «Великая Отечественная». Во весь экран показали лицо молоденького офицера. Мама ахнула: «Митя!»

Не знаю уж как, но Иван Иванович провел целый поиск. Все подтвердилось. Мама не ошиблась. То был мой отец. Погиб командир взвода 36-го полка 14-й гвардейской стрелковой дивизии Дмитрий Филиппович Гайдай за две недели до Победы. Посмертно награжден. Орден Отечественной войны первой степени мне торжественно вручили в Россоши — в районном военкомате. Понимаю, награду принял, прежде всего, стараниями моего названного отца — Ивана Ивановича Ткаченко...»

